Сириус. Машина опоздания

Алексей Ванюгин

Алексей Ванюгин

Сириус. Машина опоздания

«Автор»
2026

Ванюгин А.

Сириус. Машина опоздания / А. Ванюгин — «Автор», 2026

«Сириус» уходил в первый в истории гиперпрыжок. В конце прыжка к первой цели капитан произошел сбой и капитан приказал прервать переход — у него не было ничего, кроме записки человека, которого выжили из проекта. Приказ стоил ему карьеры и спас корабль. Двигатель оказался не машиной расстояний, а машиной "опоздания": 9 часов 40 минут по бортовым часам обошлись в 11 лет по земным.Они вернулись в 2123 году. Земля молчала на всех частотах с 12 августа 2116-го. Из 11 миллиардов уцелело меньше двух.Понять, что случилось, оказалось хуже, чем не знать. Подпространство — не среда, а сооружение: сеть, натянутая задолго до человека. Слепой прыжок рвёт нить, и дрожь бежит к тем, кто её чинит. Ремонтники не воюют и не мстят: они гасят всё, что кричит в эфире, и не отличают передатчик от того, кто в него кричит.У капитана полтора миллиона спящих, полмиллиона оставленных внизу и обещание вернуться. И координаты узла, куда четырнадцать лет назад ушёл человек, понявший всё раньше других.

© Ванюгин А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ I. Колокол. Вступление 5
Глава 1. Старт 7
Линия Земли. Документ 1 11
Линия Земли. Кривая Волкова 12
Глава 2. Чужие звёзды 15
Глава 3. Совет 18
Глава 4. Шаги через бездну 22
Линия Земли. Документ 2 27
ЧАСТЬ II. ДОМ Глава 5. Мёртвый причал 28
Глава 6. Бункер-семь 34
Глава 7. Шесть часов 40
Глава 8. Осада 46
Глава 9. Эвакуация 51
Линия Земли. Списки. Из журнала полковника Лакидис 57
Глава 10. Причал 60
Глава 11. Второе письмо 65
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Алексей Ванюгин
Сириус. Машина опоздания

ЧАСТЬ I. Колокол. Вступление

10 марта 2112 года.

Научно-исследовательское судно «Сириус» вышло из строительного дока, и я, Николас Лакидис, принял командование.

Называть его судном — всё равно что называть домом весь город. Первенец серии «Галактика» был скорее автономной базой, чем кораблём: больше километра в длину, почти полкилометра в высоту, свыше тысячи модулей. В этой стальной горе нашлось место всему, что положено городу, — заводам, госпиталям, оранжереям и даже лаборатории-мастерской, способной строить новые корабли прямо в пути. Ангары принимали до полусотни грузовых кораблей класса «планета — планета», жилые ярусы — двести с лишним тысяч пассажиров, а в пяти криогенных модулях, по триста тысяч камер в каждом, мог уснуть и доехать до другой звезды целый полуторамиллионный город.

Всю эту громаду должен был тянуть экспериментальный гипердвигатель — первый, который человечество рискнуло поставить на корабль с живыми людьми. На случай его отказа и для хода внутри систем нам дали пять вспомогательных атомных двигателей, честных и медленных: по расчётам, даже от ближайшей звезды дорога домой заняла бы на них больше тридцати корабельных лет.

Строили всё это не из праздного любопытства. Земля перестала очищать себя сама, и спорить об этом бросили ещё в конце прошлого века. Половины озонового слоя больше нет. Нефильтрованную воду пить смертельно опасно, а во многих городах без фильтров нельзя и дышать. Надежда с некоторых пор одна: найти планету, где всё это не нужно. Мы — первая попытка людей выйти в дальний космос самим, а не зондами-разведчиками.

Имя каждому судну серии «Галактика» дают по звезде, к которой ему предстоит однажды уйти насовсем: наша — Сириус, ярчайшая звезда земного неба, в её честь корабль и наречён. Но в первый поход мы идём не к ней, а к самой близкой — к альфе Центавра. Почти всё на «Сириусе» экспериментальное, от двигателя до оранжерей, поэтому задача проста: дойти, проверить в деле гипердвигатель и корабль — и вернуться. Если всё пройдёт гладко, на стапели встанут близнецы — «Вега» и «Альтаир», — а мы получим полный экипаж и уйдём к своей звезде.

Сейчас со мной летят пятнадцать тысяч человек. Нас сопровождают пять звёздных истребителей и десять кораблей ближней разведки. Ещё один — горнодобывающий: мало ли что откажет в пустоте, ресурсы придётся искать самим. Переселенцев на борту нет ни одного: полтора миллиона мест идут пустыми. Пятнадцать тысяч — это только команда. Инженеры, врачи, геологи, монтажники, три с половиной тысячи гражданских техников. Кадровых военных на всех — четыреста, и в бумагах эту цифру называют «избыточной», потому что воевать нам не с кем. У каждого в кармане контракт и обратный билет. Весь поход рассчитан на сто восемьдесят суток.

А внизу, под грязным небом, остаётся одиннадцать миллиардов человек. Больше половины из них живут под куполами — крупных сорок с лишним, мелких без счёта, — и купол не защищает: он держит внутри воздух, прогнанный через фильтры. Строить их начали как временную меру.

Мой собственный адрес в судовой роли записан так: Северная Европа, купол Нидарос, третий ярус. Это Тронхейм. Я вписал его своей рукой, хотя уехал оттуда девятнадцать лет назад. В графе так и написано: «место постоянного проживания». Куда сообщить, если...

Глава 1. Старт

Земля провожала нас так, как провожают единственную надежду, — с отчаянием, наряженным в праздник.

Накануне старта, десятого марта, на орбитальном причале дали приём. Я стоял у панорамного окна во весь борт станции, с бокалом, который так и не пригубил, и смотрел вниз, на планету, ради которой всё это затевалось. Отсюда, с высоты, Земля была ещё красива — тем обманчивым расстоянием, что прячет любые язвы на её поверхности. Но я вырос там, внизу, и знал, что скрывается под этой лазурью: дымные пояса над промышленными широтами, не рассеивающиеся ни днём ни ночью; города под куполами, где детей учат, что небо когда-то было синим не только на картинках; океаны, из которых нельзя пить, не убив половину того, что в них ещё живёт. Учёные всё просчитали ещё в прошлом веке. Ошиблись только в сроках: думали, у нас есть время. А времени-то и не было.

Внизу, под этой голубизной, лежал Тронхейм.

Перед вылетом мне дали три дня отпуска. В штабе советовали отдохнуть и дать пару интервью, а я вместо этого поехал домой. Дом — купол Нидарос, третий ярус, окно на фьорд.

Купол ставили при моём деде и рассчитывали на десять лет. Он стоит семьдесят три года и давно стал городом сам по себе. Под ним выросло второе небо из ферм и светильников. Его чинят по секторам, гася свет квадратами, так что раз в неделю над каким-нибудь кварталом повисает глухой чёрный прямоугольник — и все к этому привыкли. Дождь идёт по расписанию — не дождь, а промывка оболочки снаружи, дважды в месяц; вода шумит по скатам трое суток, и под этот шум в Тронхейме принято спать. Дети рисуют небо синим, потому что им так велят: на уроках это называется «цвет по образцу», а сам образец — фотография прошлого века — висит на стене. Реку Нидельву заковали в трубу и пустили под ярусами; она осталась только на схемах и в названиях остановок, и приезжие вечно ищут её глазами.

Мать жила там же, где жила всегда. Гудрун Лакидис, семьдесят четыре года, вдова, третий ярус, две комнаты, окно на восток. Ей четыре раза предлагали переселиться на нижние ярусы, куда не надо подниматься, где дешевле воздух и ближе вода, и все четыре раза она отказывалась: из её окна виден фьорд — узкая серая полоса метров в тридцать по горизонту, между опорой купола и складами, если встать правильно. Уже много лет она каждую неделю мыла это окно снаружи, забираясь на раму, и на все вопросы соседей — зачем так часто? — отвечала одинаково: «Стекло грязное — фьорда нет».

Отец умер за одиннадцать лет до старта. Андреас Лакидис приехал в Тронхейм на два года по контракту, судовым механиком, а остался на сорок один. От него мне достались фамилия, руки и убеждение, что механизм, о котором ты не знаешь, как он ломается, ты не знаешь вовсе.

Оба их ребёнка пошли в военные. Элена служит в частях планетарной обороны, я после лётной школы ушёл в испытатели, а потом мне дали этот корабль.

Элену я не застал: она не была дома уже год — узел, штаб, дежурства.

С матерью мы просидели три вечера и переговорили почти обо всём. Она расспрашивала про еду на борту, про то, кто чинит мне форму, и правда ли, что в криокамерах холодно (я ответил, что правда, но мне туда не надо). Она не спросила о самом важном — насколько надёжен этот новый двигатель и чем я буду занят четыре месяца в чужой звёздной системе. А ведь она умела задавать вопросы — за сорок лет с судовым механиком этому научишься. Лишь один раз, убирая со стола, обронила в сторону:

— Ты вернёшься к сентябрю?

— К сентябрю, — сказал я. — Может, на пару недель позже.

— Хорошо. Значит, до сентября.

Ей было семьдесят четыре года, и она сказала это как человек, который умеет считать и не считает вслух.

Провожать меня она не поехала. Отказалась в первый же вечер, и не потому, что боялась подниматься на орбиту: она поднималась дважды, когда я выпускался и когда принимал первый корабль. Она отрезала: «Провожают тех, кто уезжает. А ты уходишь на работу».

В последний вечер на Земле я взял фильтр и вышел наружу.

Это разрешено — два часа в сутки, по пропуску, через южный шлюз; очередь там небольшая: желающих мало, потому что снаружи не на что смотреть. Было плюс шесть, мокрый камень, ветер и запах, который я не могу описать иначе как «пустота»: ни водорослей, ни рыбы, ни соли — просто холодная вода без всякого запаха. Фьорд вычистили за двадцать лет до того, полностью, до последнего грамма, и с тех пор в нём ничего не жило, потому что чистить научились быстрее, чем возвращать жизнь. Чаек не было. Их не было так давно, что моё поколение уже не находило в этом ничего особенного: птицы остались на картинках, там же, где и синее небо.

На камнях сидел старик с удочкой. Я постоял рядом минуты три и спросил, ловится ли.

— Нет, — сказал он, не оборачиваясь. — Тут не ловится.

— А зачем тогда рыбачишь?

Он подумал.

— Так я и не рыбачу. Просто люблю сидеть и вспоминать, как тут было раньше.

Это последнее, что я помню о Земле снизу: чёрная вода, мокрый камень и человек, который сидел.

*

За спиной звенели бокалы, играла музыка, министры вещали о заре новой эры. А я смотрел вниз и думал, что зарёй это называют только в зале.

— Ты опять стоишь спиной к собственному празднику, — заметила Элена. Подошла она бесшумно. Моя сестра, старше меня на четыре года, полковник планетарной обороны, в парадном мундире держала бокал, который, в отличие от меня, не забывала пригубливать. — Людям внизу нужен герой, Никола.

— Я не герой. Скорее извозчик, которому доверили самую дорогую телегу в истории.

— Так скажи им это, — она кивнула в сторону зала. — Для них ты человек, который привезёт шанс на спасение. Дай им хоть сегодня в это поверить. Завтра ты улетишь, и верить придётся самим.

Мы стояли рядом, брат и сестра, и молчали. Элена оставалась внизу: её война шла здесь. Мою войну я тогда ещё считал простой прогулкой: долететь до соседней звезды, проверить двигатель, вернуться. Если бы кто-то сказал мне в тот вечер, что планета внизу замолчит раньше, чем я снова её увижу, я бы решил, что этот человек пьян.

Вечер тянулся, официальные речи сменяли одна другую.

Главный конструктор проекта высказался короче всех — минуты полторы, ровным голосом, без единого слова про зарю новой эры, — и после этого от стойки уже не отходил. Звали его Генрих Кёниг. Ему было под шестьдесят, он был сер лицом и держался очень прямо, как держатся люди, следящие за собой. Помощник по хозяйственной части шепнул мне, что конструктор не пьёт двадцать лет и что сегодня, кажется, начал.— Вас понял. Навигационная, где мы сейчас?

— По данным компьютера, мы уже должны были пройти восемьдесят два процента расстояния до системы Центавра. До выхода из гиперпространства нам осталось пятьдесят две минуты.

— Принято. Моторный, следите за приборами, доклад при изменении пульсации более чем на один процент. Навигационная, рассчитайте наше местоположение. Ангарам — приготовить корабли к вылету.

И тут я вспомнил про конверт. Сутки назад, среди музыки и речей, это была шутка. Теперь, с растущей пульсацией и тремя часами белой слепоты за спиной, шутка перестала быть смешной. Я достал его из внутреннего кармана и вскрыл.

«Привет, Никола (так он меня всегда называл). Ты знаешь, что я работал в проекте гипердвигателя, но не знаешь, почему ушёл. Однажды, гоняя расчёты, я понял, что при определённых входных данных компьютер двигателя начнёт ошибаться. При этом никакие проверки ничего не найдут. Причина проста: структура космоса неоднородна, и на её расчёт не хватит никакой машинной мощности и возможностей анализа.

Несколько раз перепроверив, понёс это главному конструктору — он объявил мою теорию ошибочной, не дослушав и до середины. Я пытался ему доказать, что это очень большая проблема, но меня силой выставили за дверь. Участвовать в смерти тысяч людей я не захотел и подал в отставку, а уже к вечеру того же дня заметил за собой людей службы разведки. Пришлось исчезнуть.

Годами прятался по разным странам от «служак», но недавно сумел снова увидеться с главным конструктором. Оказалось, он всё-таки проверил мои расчёты — и они подтвердились. В полутёмном пабе, хорошо приняв на грудь, он проболтался: сам двигатель, по его мнению, построен верно, но компьютер расчёта не потянет, и чем дальше полёт, тем меньше шансов долететь — что до Центавра, что обратно. Шансы дойти он оценил как один к ста. Признать это вслух ему стыдно и страшно, и, кроме нас двоих, об этом не знает никто. Все, кто, как я, находил в проекте ошибки, бесследно исчезали в подвалах службы разведки; я единственный, кто успел уйти.

И вот что я должен сказать тебе честно, Никола: я не инженер твоего корабля и не знаю, как именно тебя спасать. Я исследователь, теоретик, вижу пропасть, но не вижу моста через неё — мост придётся строить тебе и твоим людям, уже там, на месте.

Знаю одно наверняка: когда пойдёт неладное, компьютер будет до последнего твердить, что всё в порядке, — он иначе не умеет. Не верь ему. Верь интуиции, ощущениям, своему внутреннему голосу. Выход почти наверняка есть, и дорога домой, думаю, тоже, — но их придётся искать вам, своими головами. Моё дело — успеть крикнуть «берегись». Что я и делаю.

Твой Пётр».

Я перечитал последние строки дважды. Пётр не оставил мне инструкции — он оставил мне тревогу. А компьютер в эту самую секунду по-прежнему уверял меня, что всё в порядке. Решать надо было мне одному, и я решил.

— Моторный, говорит капитан. Отключаем гипердвигатель и выходим в обычное пространство. Мостик, включить щит на сто процентов, подготовить запуск зондов-разведчиков.

Рубка молчала ровно один удар сердца.

— Капитан, — осторожно проговорил главный инженер Ланге со своего поста. — Прошу зафиксировать: бортовой компьютер оценивает переход как штатный. Пульсация — два и семь, в пределах, которые проектировщики считают безопасными. Мы прошли восемьдесят два процента пути. Если мы прервёмся сейчас, то выйдем неизвестно где, используя непроверенный аварийный режим, который никто никогда не тестировал на живом корабле в реальных условиях. Система рекомендует продолжать.

— Я вижу данные на экране, Ланге, — ответил я.

— Тогда на каком основании мы должны прервать прыжок?

Хороший вопрос. И у меня не было на него ответа, который выдержал бы проверку уставом. У меня был лишь лист бумаги, исписанный корявым почерком мертвеца. Против меня свидетельствовали все приборы корабля, научные выкладки, здравый смысл и должностная инструкция. За меня — только Пётр, подписавшийся полным именем.

А он подписывался так лишь тогда, когда был уверен, что прав, и знал, что за эту правоту с него спросят.

— На том основании, — сказал я, и собственный голос показался мне чужим, — что у меня есть информация от человека, который ушёл из проекта разработки гипердвигателя, потому что не захотел участвовать в нашей гибели. И заплатил за свой уход годами бегства. Люди не платят так за ошибку. Так платят только за правоту. — Я обвёл рубку взглядом. — Я знаю, чего прошу. Я приказываю прервать первый в истории человечества гиперпрыжок почти у самой цели, полагаясь на какую-то записку. Если я ошибаюсь, меня ждёт разбирательство и увольнение. Если ошибается компьютер — нас не ждёт уже ничего. Я выбираю позор. Отбой прыжка. Исполнять.

Ланге секунду смотрел на меня — и коротко, сухо кивнул.

— Моторный отсек, аварийная остановка перехода по протоколу «омега», — заговорил он в микрофон уже другим, отрывистым, боевым тоном. — Гашение поля в три ступени. Экипажу — приготовиться к жёсткому выходу, всем закрепиться. Пять, четыре...

Я вцепился в подлокотники. За бортом стояло всё то же ровное молоко, безмятежное и слепое, и приборы по-прежнему уверяли меня, что всё хорошо.

— ...два, один, ноль. Гасим поле.

Линия Земли. Документ 1

Протокол закрытого совещания Службы стратегической разведки 114-с от 3 марта 2109 года. Гриф «Особой важности». Присутствуют: директор Службы К. Нокс, начальник управления перспективных программ, главный конструктор проекта «Галактика» (по пункту 2 — удалён из зала).

Пункт 1. О результатах лётных испытаний беспилотных изделий «ГД-01» — «ГД-03».

Проведено одиннадцать пусков изделий с гиперприводом на дистанции от 0,4 до 11,2 астрономической единицы. Все изделия вернулись целыми. Особо отмечено: изделие «ГД-02» (наибольшая масса, наибольшая дистанция) вернулось в расчётную точку с рассогласованием времени — по бортовому счёту с момента старта прошло 3 часа 40 минут, по наземному — 5 суток 20 часов. Бортовые данные сохранны, повреждений нет. Явление отнесено на счёт неисправности хронометра; изделие признано исправным, программа испытаний — успешной.

Пункт 2. Об аномальных явлениях, сопутствующих пускам.

По докладу группы контроля: после каждого пуска в районе стартовой точки зарегистрированы запаздывающие возмущения неустановленной природы («эхо»): локальные сбои связи, наводки в энергосетях, в двух случаях — механические повреждения измерительной аппаратуры. Запаздывание эха составило от 9 до 41 дня и растёт с массой изделия и длиной перехода. Амплитуда растёт быстрее, чем масса изделия (показатель степени по предварительной оценке — от 2,6 до 3,1).

Инженер расчётной группы Волков П. А. представил записку, в которой связывает «сбой хронометра» изделия «ГД-02» с природой эха: по его модели двигатель уносит сам аппарат вперёд по времени, а величина сноса растёт с массой и длиной прыжка по той же кривой, что и эхо. Отсюда вывод Волкова: изделие большой массы вернётся не через дни, а через годы — целым, но в другом времени, в будущем. Требует остановить проект «Галактика» до выяснения. Экстраполяция признана неправомерной (одиннадцать точек, разброс велик). Волкову объявлено о неполном служебном соответствии. Материалы по пункту 2 засекретить; дирекцию проекта «Галактика» в известность не ставить, как не имеющую допуска.

Приложение (рукописная пометка на полях архивного экземпляра, почерк идентифицирован как почерк главного конструктора):

«Мне всё-таки показали. Кривая Волкова уходит в небо. Тридцать миллионов тонн. Я подписал старт, потому что не поверил. Теперь считаю каждый день. Молюсь, чтобы старик ошибался. — Г. К.»

Приобщено особо: рапорт дежурного по управлению за 3 марта 2109 года, представлен при пересмотре дела.

«Волков П. А. вышел из зала в 16.40. В приёмной ему выдали выписку из протокола под роспись в ознакомлении. Расписался. Прочёл дважды. Спросил, надлежит ли ему сдавать дела и передавать расчётную группу. Получил ответ, что нет, взыскание дисциплинарное, от работы не отстранён. Уточнил, остаётся ли за ним доступ к первичным данным пусков. Получил ответ, что остаётся.

Далее спросил, будет ли пункт 2 доведён до дирекции проекта. Получил ответ, что нет. Попросил занести, что спрашивал. Занесено.

Ушёл в 16.52. В 17.10 отмечен на рабочем месте. Работал до 23.00, как в обычный день. Дежурный по этажу докладывает, что в 22 часа Волков П. А. запросил на завтра одиннадцать точек по пускам в расширенном виде, с погрешностями по каждому измерению».

Линия Земли. Кривая Волкова

Реконструкция по личным записям П. А. Волкова, приобщённым к делу много позже. 3 марта 2109 года.

Пётр Алексеевич Волков готовился к этому совещанию восемь месяцев и знал заранее, что проиграет. Он был математик, а не оратор; ему было пятьдесят семь лет, и всю жизнь он убеждал только цифрами. Доклад он переписывал семь раз, и все семь кончались одинаково.

Чудаком его в проекте считали давно, и, если быть честным — а Волков вёл записи именно затем, чтобы быть честным, — он сам приложил к этому руку.

Началось всё не с кривой, а с несовпадения в четыре часа, которое никому не мешало. В марте две тысячи сто седьмого изделие «ГД-01» — самое лёгкое из всех и на самую короткую дистанцию — ушло в подпространство на семнадцать минут по бортовым часам и вернулось на полигон целым. Снаружи прошло четыре часа с четвертью. Это записали как сбой хронометра — формулировка была честная в том смысле, что хронометр действительно показывал не то, чего от него ждали. Волков единственный из группы сел пересчитывать не двигатель, а часы: выпросил вторые, эталонные, из метрологии, потом третьи, потом добился, чтобы на следующий пуск поставили четверо часов разной физической природы — кварцевые, атомные, маятниковые и вовсе смешные, песочные, которые он привёз из дома и примотал к раме изолентой. Над песочными смеялись полгода. Все четверо показали одно и то же.

С этого и пошло. Человека, который требует четвёртые часы, когда трое уже согласны между собой, в любом коллективе зовут одним словом, и слово это не «дотошный».

Дальше было хуже, потому что дальше он оказался прав.

После третьего пуска он потребовал странного: не разбирать стенд. Обычно площадку освобождали через сутки — она была дорогая, очередь на неё стояла в три программы. Волков просил оставить на стартовой точке приёмную аппаратуру на шесть недель после того, как аппарат уже вернулся, и слушать пустое место. Ему сказали, что слушать там нечего. Он ответил, что именно это и надо проверить.

Дали три недели — из милости и чтобы отвязался. На девятнадцатые сутки датчики поймали удар: короткий, тупой, без источника, будто по натянутому одеялу хлопнули с изнанки. В журнале его записали как наводку в энергосети. Волков назвал его эхом и с тех пор не называл иначе, чего ему не простили.

Одиннадцать пусков заняли два года. Одиннадцать раз аппарат уходил и возвращался; одиннадцать раз снаружи проходило больше, чем внутри; одиннадцать раз — с задержкой от девяти суток до сорока одного дня — приходил удар. Точки плясали, разброс был скверный, но каждая новая ложилась выше предыдущей, и линия через все одиннадцать проходила только одна.

К концу второго года Волкова в коридорах управления звали Про́роком, и это было ещё ласково. Он приходил на разборы с папкой, раскладывал листы и говорил ровно и негромко то, чего никто не хотел слышать в неделю, когда сдавали кессоны, и в неделю, когда правительственная делегация ходила по стапелю в белых касках. Терпели его по двум причинам. Первая: двенадцатью годами раньше он нашёл ошибку в расчёте магнитной подвески, из-за которой «Галактику» пришлось бы переваривать целиком, — нашёл один, ночью, по чутью, которое сам объяснить не умел. Вторая: он не жаловался наверх и не давал интервью. Он просто не уходил.

Много позже, у узла, он запишет про себя жёстче, чем про Службу: *«Я был прав и невыносим, и второе устроил себе сам. Правым быть легче, чем убедительным: правота не требует смотреть в лицо. Я одиннадцать раз положил им на стол цифры и ни разу не подумал, как эти цифры звучат человеку, у которого над столом висит график сдачи»*.

В зале без окон, под гербом Службы, сидели трое, от которых зависела судьба одиннадцати миллиардов человек, — и ни один из них не хотел слышать того, что он привёз. Листы легли в том порядке, в каком он раскладывал их дома. Двенадцать минут: про одиннадцать пусков, про изделие «ГД-02», которое вернулось целым, но с опозданием на пять суток там, где по бортовым часам прошло три часа; про «эхо» — запаздывающие удары неизвестной природы, приходящие в стартовую точку через недели после того, как аппарат уже вернулся. Он показал главную кривую. Двое наклонились над столом и почти сразу откинулись обратно. Третий даже не тронулся с места: он разглядывал Волкова и ждал, когда тот договорит.

— Амплитуда растёт как куб массы, — сказал он. — Возможно, быстрее. Мы пускали болванки в сотни килограммов. «Галактика» — это тридцать миллионов тонн. Если продлить кривую до неё...

— Ну зачем же продлевать, — сказал начальник управления. — Одиннадцать точек, товарищ Волков. По одиннадцати точкам с таким разбросом можно провести какую угодно линию. Вы провели самую страшную. Это не наука, это догадки.

— Я провёл единственную, которая проходит через все, — сказал Волков. — Дайте мне двенадцатый пуск. Полноразмерный модуль. Один. Прежде чем мы посадим на такой пятнадцать тысяч живых людей, дайте мне убедиться, что он не вернётся к ним постаревшим на десять лет.

Директор Службы — его фамилия была Нокс, Калеб Нокс, — до сих пор молчавший, закрыл папку и придвинул её к краю стола.

— Господин Волков. Вы понимаете, в каком мы положении. Озоновый слой — наполовину потерян. Питьевой воды по нормам две тысячи семидесятого — нет. Каждый год отсрочки «Галактики» — это год, который мы отнимаем у собственных внуков. А вы просите остановить единственный проект, дающий людям надежду, из-за... эха. Из-за наводок в энергосети, которые ваша же группа не сумела толком измерить.

— Из-за того, что мы не понимаем природу двигателя, который строим, — сказал Волков. — Мы называем это «сбоем хронометра», потому что так спокойнее. А это не сбой. Прибор показал правду. Мы просто не хотим её читать.

Нокс произнёс те слова, ради которых его и позвали:

— Ваше несогласие занесут в протокол. И вам будет объявлено о неполном служебном соответствии — за паникёрство, подрывающее программу государственной важности. Материалы по эху засекречиваются. Конструктора проекта в известность не ставить: у него нет допуска, а у нас — нет желания пугать человека цифрами, в которые не верит даже коллегия. Вы свободны.

Волков собрал листы. У двери он обернулся — не для них, для себя, чтобы запомнить.

— Вы спрашиваете «как далеко» летит корабль, — сказал он. — А надо спрашивать — «как поздно» он вернётся. Мы думаем, что двигатель везёт нас в пространстве. Он везёт нас во времени. И только в одну сторону.

Его не поняли. Его и не должны были понять — для этого не хватало ещё семи лет и одной мёртвой планеты. Дома, в тот же вечер, он открыл новую тетрадь и на первой странице вывел то, что не позволили сказать вслух: кривую, одиннадцать точек и знак вопроса напротив слова «Галактика». Отстранение оформили аккуратно, без скандала: перевод в отдел научно-технической информации, то есть в реферативную комнату, где взрослые люди пересказывают друг другу чужие статьи. Допуск сняли через месяц, жалованье срезали до ставки методиста. Ещё через месяц дома у него изъяли восемь тетрадей — «в порядке проверки соблюдения режима», под расписку, с обещанием вернуть. Вернули две, обе пустые.

Этого он ждал и потому переписывал всё в трёх экземплярах, а третий держал не дома. Врасплох его застало другое — скука слежки. Он думал, что за ним будут ходить, и первое время ему это льстило. За ним и правда ходили: вяло, посменно, двое, всегда с одной и той же

стороны улицы. Но главным инструментом оказалась не слежка, а телефон. Люди перестали брать трубку. Метролог, который когда-то смеялся над песочными часами и сам же дал ему эталонные, не взял. Начальник расчётной группы взял и сказал, что перезвонит. Из одиннадцати человек, работавших с ним на пусках, разговаривать с ним продолжали двое, и обоих в течение года перевели.

В две тысячи сто десятом он ушёл сам — написал заявление, в котором не было ни слова об эхе, отработал две недели и вышел из проходной с картонной коробкой, где лежали кружка и отцовская логарифмическая линейка; всё остальное он вынес раньше, по листу. Год после этого известен плохо. Он не бедствовал: чинил в мастерской при порту навигационные блоки — работа сдельная, руки хорошие, вопросов никто не задавал. Считал по ночам.

Считал он не кривую — кривую он к тому времени знал наизусть, — а обход. Из этого года вышли три вещи.

Первая — конструктор. Встреча была короткой и, судя по тому, как скупо она записана, тяжёлой. Конструктор сказал, что проверил расчёты сам, что они верны и что публично признать это не сможет: слишком поздно, слишком много подписей, слишком много людей поверило. На прямой вопрос ответил цифрой: один к ста. Волков поблагодарил и ушёл. В тетради об этом одна строка: *«Он не трус. Он просто уже расписался»*.

Вторая — письма. Он сообразил раньше многих, что предупредить человека можно не тогда, когда предупреждение нужно ему, а тогда, когда оно есть у тебя, и что расстояние между этими двумя днями измеряется годами, которых у него нет. Он перебрал всех, кому мог бы это доверить, и на каждом остановился не дольше чем на вечер. Значит, курьер не должен быть человеком. Полгода ушло на два механизма — тот, что вручит конверт на причале в день старта, и тот, что пронесёт пенал в бункер шестью годами позже, — и, судя по записям, эти полгода дались ему тяжелее, чем вся сеть.

Третья — отлёт. Красть, строго говоря, было нечего. После перехода программы на полноразмерный контур изделия «ГД» списали и назначили к утилизации, а утилизацию отложили — сначала на год, потом ещё, потому что за неё надо было платить, а платить за уничтожение того, чего по бумагам уже нет, никто не хотел. В том же отстойнике стоял и обитаемый испытательный аппарат — тесная бочка на две койки, собранная под следующий этап, на котором так и не решились пустить человека. Волков знал об этом лучше всех: последний акт по отстойнику писал он сам, ещё при допуске.

Он приехал в конце смены, в спецовке портовой мастерской, с нарядом на вывоз лома — наряд был настоящий, только выписан на соседний участок. Аппарат, официально уничтоженный четырнадцатью месяцами раньше, сняли с консервации четверо рабочих, которым он сказал, что забирает раму под стенд. Ни один из них потом не солгал в объяснительной, потому что ни одного из них не спросили: вещи, которой нет, не бывает и в розыске.

«Гриф я не нарушил, — запишет он у узла. — Ни одной закрытой цифры я не назвал никому, включая тех, кого хотел спасти. Зато увёл списанный аппарат и не почувствовал ничего. Разберись в этом сам, если сможешь: я до сих пор не могу».

Ушёл он с ночной стороны полигона, вдоль путей, вычисленных им самим, — дальше, чем его стали бы искать.

Глава 2. Чужие звёзды

Выход из гиперпространства оказался куда тяжелее входа. «Сириус» тряхнуло с такой силой, что в ангаре сработали аварийные захваты, а по жилым модулям прокатилась волна вибрации и сорвала с мест всё, что закрепили небрежно. Несколько секунд экраны внешнего обзора показывали всё то же слепое «молоко», потом оно словно свернулось, стянулось в тонкие белёсые нити — и разом исчезло. Вокруг нас снова распахнулся обычный космос: чёрный, глубокий, усыпанный холодными звёздами.

Потом меня не раз называли за тот приказ «пророком», и всякий раз мне делалось неловко. В тот момент я не понимал происходящего ни на грош. Я поставил пятнадцать тысяч жизней на записку человека, которого много лет считал мёртвым, пошёл против всех до единого приборов корабля, и мне попросту повезло, что Пётр не солгал. С тем же успехом всё могло обернуться катастрофой, и тогда это была бы история капитана, который запаниковал, поверил призраку и сорвал важнейшую миссию в трёх минутах от цели. С тех пор я не берусь отличать чутьё от везения. В тот раз я угадал.

— Доложить о повреждениях, — приказал я, не отрывая глаз от главного экрана.

— Моторный капитану. Гипердвигатель заглушен штатно, пульсация на момент отключения — два и восемь десятых процента. Генераторы целы, идёт охлаждение. Повторный запуск возможен не раньше чем через десять часов.

— Медицинская служба капитану. Лёгкие травмы у шестидесяти двух человек, тяжёлых нет.

— Корпус цел, герметичность во всех секторах в норме, — доложила инженерная группа. — Защитный щит держит сто процентов.

Я медленно перевёл дыхание. Пятнадцать тысяч человек, и ни одной потери. Пётр, где бы ты сейчас ни был, — спасибо тебе.

— Навигационная, наше местоположение.

Пауза затянулась. Я обернулся. Старший навигатор Айко Танака сидела, низко склонившись над пультом, и лицо её было бледнее того молока, из которого мы только что вынырнули.

— Капитан... Бортовой компьютер не может привязаться к звёздным картам. То есть физически он их видит, но... Дайте мне десять минут, сэр. Я хочу перепроверить всё вручную.

— Работайте. Радар, что в ближней зоне?

— Чисто, сэр. В радиусе действия сканеров — ни кораблей, ни крупных объектов. Только пыль.

Через десять минут Танака выпрямилась. В её голосе было слышно удивление на грани паники:

— Капитан, хорошая новость: мы там, где и должны быть. Гашение шло тремя ступенями, и спадающий импульс дотащил нас до конца перехода. Точка выхода лежит в семидесяти восьми миллионах километров от расчётной, на самой границе системы альфы Центавра.

Для первого в истории прыжка это была невероятная точность. Я успел этому обрадоваться.

— А плохая?

— Плохая новость — время, сэр. Я сверила периоды десяти контрольных пульсаров. Это самые точные часы во Вселенной, они не могут ошибаться все разом. По бортовому счёту с момента старта прошло девять часов сорок минут. По пульсарам... — она тяжело сглотнула, — по пульсарам прошло одиннадцать лет и четыре месяца.

В рубке стало очень тихо. Только где-то в недрах пульта сухо щёлкало реле охлаждения.

— Проверьте ещё раз, — тихо произнёс я.

— Я проверила четыре раза, капитан. Разными методами. Собственное движение звёзд подтверждает: сейчас не две тысячи сто двенадцатый год. Сейчас две тысячи сто двадцать третий.

Я опустился в командирское кресло. В голове сами собой всплыли строчки из письма: «структура космоса неоднородна, и компьютеру просто не хватит мощности всё рассчитать». Там, где он ошибался в расчётах среды, мы проваливались — но не в сторону, а вперёд. Сквозь само время.

— Капитан связистам, — сказал я, стараясь сдерживать дрожь в руках. — Развернуть направленную антенну на Солнце. Дайте мне Землю.

— Сэр, сигнал отсюда будет идти четыре года и четыре месяца в одну сторону...

— Я знаю скорость света, лейтенант. Меня интересует не разговор. Меня интересует, что Земля передавала все эти одиннадцать лет. Радио, телевидение, служебные каналы, маяки дальней связи — всё, что успело долететь до этой точки за наше отсутствие. Слушайте эфир.

Связисты развернули антенное поле. Через час старший офицер связи Мбеки доложил о результатах. Лучше бы он этого не делал.

— Капитан, эфир пуст.

— Что значит — пуст?

— Я принимаю то, что Земля передавала до две тысячи сто шестнадцатого года — эти волны уже дошли до системы Центавра, и они в полном порядке: новости, каналы связи, навигационные маяки. Вот, есть даже репортаж о закладке второго корабля серии «Галактика». А потом... — он вывел на экран спектрограмму, и на ней плотный лес несущих частот обрывался в одну сплошную вертикальную линию. — Двенадцатого августа две тысячи сто шестнадцатого года всё вещание Земли прекращается. В течение одних суток. После этой даты — мёртвая тишина на всех диапазонах. Два с половиной года подряд — ничего.

— Солнечные бури? Отказ приёмников?

— Исключено, сэр. Наша аппаратура исправна — фон, пульсары, чужие галактики я слышу прекрасно. Молчит только Земля.

— А Марс? — спросил я. — Луна? Сектора Пояса?

— Проверил в первую очередь, сэр. — Мбеки говорил ровно, пальцы у него лежали на пульте неподвижно. — Марсианские ретрансляторы работали до пятнадцатого августа, на трое суток дольше Земли. Последние сорок часов там шло не вещание, а один и тот же аварийный код по кругу. Потом смолк и он. Луна замолчала в тот же день, что Земля, в течение шести часов. Пояс я слышу до двадцатого августа: там оставались частные каналы, и они гасли вразнобой, по одному за ночь.

Я задал единственный вопрос, который ещё имел смысл:

— Кто-нибудь выходил на связь после двадцатого?

— Никто, сэр. Ни один передатчик человеческой постройки. Два с половиной года абсолютной тишины.

Позже я не раз возвращался к этой минуте. Мы спрашивали, что случилось с Землёй, а услышали, что случилось со всеми: не с планетой — с видом. И в ту секунду пятнадцать тысяч человек в стальной коробке в четырёх световых годах от дома стали всем, что осталось.

Мы тогда так думали.

Одиннадцать лет украло у нас подпространство. А через четыре с лишним года после нашего старта, за один-единственный день, Земля ослепла и оглохла. Что бы там ни произошло, свет этой катастрофы ещё только летел к нам через бездну, и последние его годы были годами молчания.

Мостик только что услышал, что родная планета три года не подаёт признаков жизни, — а первое, что накрыло меня, было не горе. Я стал считать чужие годы. Одиннадцать лет. Моя старшая сестра Элена махала мне с причала, придерживая на плече двухлетнюю дочку. Значит,

теперь племяннице тринадцать; она уже не помнит дядю, улетевшего к звёздам, разве что по блёклой фотографии. Значит, сестра прожила без меня одиннадцать лет — чужие свадьбы и похороны, седину в волосах и новые звания, целую войну, о которой я ничего не знаю. Мать, если жива, встретила не один день рождения без старшего сына. Ей было бы теперь восемьдесят пять. Я сказал ей «до сентября», она ответила «значит, до сентября», и с тех пор сменилось одиннадцать сентябрей.

Я поймал себя на том, что считаю не годы, а окна: моет ли ещё кто-нибудь то стекло на третьем ярусе, из которого видно тридцать метров серого фьорда, если стоять правильно? А та девочка с причала, которую я так и не взял на руки ни разу — ни за два года подготовки, ни в то последнее утро через два стекла, — теперь ровно в тех годах, в каких была её мать, когда придумала мне прозвище «Чёрный кот». Целое десятилетие чужих судеб, первых слов и последних вздохов пронеслось мимо нас, пока мы девять часов сидели в стальной рубке и думали, что проверяем двигатель.

Я обвёл глазами мостик: то же самое сейчас прокручивал в уме каждый. Танака смотрела в пустой угол пульта. Молодой офицер наведения Реттиг сидел не двигаясь. Заговорил вдруг, тихо, ни к кому не обращаясь.

— У меня сын родился за месяц до старта. Ему был всего месяц. Нам ведь говорили: новый двигатель, туда и обратно, дело недолгое. Я и не прощался толком. — Он прервался. — Сейчас сыну одиннадцать. Я не знаю, какой он.

Никто не ответил. Отвечать было нечего.

— Реттиг, — позвал я как можно спокойнее. — К пульту. Работа сейчас — лучшее, что у нас есть.

Он вздрогнул, коротко кивнул и склонился над экраном.

За следующий час в службу связи поступило две тысячи триста одиннадцать заявок.

Люди просили передать весточку домой. Никто не обманывался: ответа мы не узнаем никогда, а тот, кто эти слова получит, примет их от человека, которого одиннадцать лет как похоронили. Но люди всё равно писали. Мбеки принёс мне распечатку списка и молча стоял, пока я читал. Он не сказал, что его имя там тоже есть.

Я разрешил. Двести слов на человека, одним сжатым пакетом, направленной антенной, отправка в двадцать два ноль-ноль по корабельному времени. Юрист сказал бы, что я не имею права занимать военный канал дальней связи личной перепиской. Юриста на борту не было, был я, и я подписал.

До двадцати двух ноль-ноль оставалось девять часов. Я собрал офицеров, и последним, что прозвучало на том совете, было моё: в эфир не выходит никто.

Пакет так и не ушёл. Он лежит в буфере памяти передатчика до сих пор — две тысячи триста одиннадцать писем, около четырёхсот шестидесяти тысяч слов, — и за все годы, что были потом, я не нашёл ни одной причины его стереть и ни одной, чтобы отправить.

— Капитан экипажу, — произнёс я, включив общекорабельную трансляцию. Голос, к моему удивлению, не дрогнул. — Наш прыжок прошёл с отклонением — куда большим, чем кто-либо мог предвидеть. Мы целы, корабль в порядке, погибших нет. Однако прошло значительно больше времени, чем показывают наши хронометры. Подробности будут объявлены после совещания командного состава. Прошу каждого оставаться на посту и делать свою работу; сегодня «Сириус» держится только на этом. Всем службам — режим повышенной готовности. Разведчикам — предстартовая подготовка.

Отключив связь, я посмотрел на чёрный диск главного экрана, где среди чужих созвездий пряталась маленькая, едва заметная жёлтая искра — наше Солнце.

Мы улетели проверить двигатель.

Глава 3. Совет

Совещание собрали через пять часов в малой кают-компании сразу за ходовым мостиком. Нас было семеро: я; старпом Ева Крамер — бывший военный лётчик и единственная из нас, кто участвовал в настоящих боевых действиях; навигатор Танака; главный инженер Отто Ланге, отвечавший за гипердвигатель; командир авиакрыла майор Сингх; глава научной группы профессор Асгейрссон и офицер связи Мбеки.

Танака коротко повторила то, что уже знал мостик. Одиннадцать лет. Молчащая Земля. Я попросил её сказать вслух, откуда взялась эта цифра. Я не сомневался — просто за столом сидели семь начальников служб, и каждому из них предстояло эту цифру кому-то повторять.

— Из трёх независимых источников, сэр, и они принципиально не сходятся, — доложила Танака. — Бортовые эталоны времени — три комплекта, все атомные, все одной постройки. До прыжка они шли идеально синхронно семнадцать лет. Через сорок минут после входа в переход они разошлись между собой: первый и третий ушли в одну сторону, второй остался. К выходу расхождение между крайними составило одиннадцать минут восемнадцать секунд.

— Одиннадцать минут, — сказал я. — Не лет.

— Да, сэр. Часы разошлись на минуты. Небо разошлось на годы. — Она вывела на стол две астрономические карты, наложенные одна на другую. — Вот собственное движение звёзд поля, снятое перед стартом, и вот оно же, снятое три часа назад. Разница траекторий строго соответствует одиннадцати годам и трём месяцам. Проверено по четырнадцати опорным объектам, независимо, дважды. Третий источник — пульсары, их периоды я ещё считаю, но первая прикидка ту же цифру подтверждает.

— И какой источник правильный?

— Небо, сэр. Наши приборы показывают, сколько времени прошло лично для нас. Небо показывает, сколько его прошло вообще. Мне нечем свести их между собой, потому что все три моих комплекта — одной физической природы. Разойдись они с чем-нибудь четвёртым, устроенным принципиально иначе, я бы, может быть, поняла, что именно с ними случилось.

Я сидел и смотрел на её схему, и мне очень некстати вспомнился Кёниг у тёмного окна со своим четвёртым комплектом часов. Я не сказал об этом никому за столом. Сказать это вслух означало признать, что нас предупредили дважды и оба раза мы предпочли остаться слепыми.

Когда Танака закончила, первым заговорил Ланге.

— Я обязан заявить это официально, капитан. То, что с нами произошло, — не отказ материальной части. Двигатель отработал безупречно. Отказал сам расчёт. Компьютер строил маршрут в подпространстве, считая его однородной средой, а оно неоднородно — там есть... назовём это течениями. Разностями плотностей. Бортовой вычислитель не успевал пересчитывать, копил ошибку и сглаживал её единственным доступным ему способом — по оси, которую проектировщики заложили как константу. По времени.

— Минуту, Отто, — перебил Асгейрссон. — Прежде чем вы напугаете капитана окончательно, надо объяснить, почему это вообще возможно. Иначе мы тут все начнём гадать на кофейной гуще, а решать вам. — Он повернулся ко мне.

— Капитан, всех нас в академиях учили: быстрее света летать нельзя, а если бы было можно, то сверхсветовой корабль был бы машиной времени и рушил бы причинно-следственные связи. Так вот: подпространство эту теорему не нарушает. Оно её изящно обходит. Нити, о которых говорит Ланге, — это не туннели в нашем пространстве. Это области, где метрики другие, и — главное — у всей их системы есть общие часы. Выделенная система отсчёта, единая для всей сети. В учебниках её нет, потому что «нашему» пространству времени она не положена; а у сети она есть, как у кристалла есть жёсткая ось. Прыжок мгновенен по часам сети — и берегут причинность именно эти общие часы, а не что другое. В единой системе

отсчёта нельзя прийти раньше, чем ушёл, как нельзя обогнать себя на одной дорожке; вот и весь «запрет на убийство дедушки». — Он помедлил и продолжил осторожнее.

— А то, что ошибку нас сбрасывает всегда вперёд, в «позже», и никогда назад, — это, капитан, другое, и я бы не спешил называть это законом. Похоже, это просто наша немощь. Мы научились отталкиваться от четвёртой стены в будущее — а притягиваться обратно, шагнуть в «раньше», ещё нет. Как ребёнок, который уже умеет спрыгнуть с крыльца, но ещё не понимает, как залезть на него обратно. Дверь, сдаётся мне, открывается в обе стороны. Просто назад в неё пока не прошёл никто, о ком я слышал.

— То есть эти одиннадцать лет мы заплатили за просчёт компьютера, — сказал я.

— Именно. Одиннадцать лет — это то, чего компьютеру не хватило, чтобы посмотреть, куда он нас ведёт.

— Вы хотите сказать, что любой прыжок будет стоить нам лет? — бросила Крамер.

— Любой длинный, сквозной прыжок — да. Но есть решение. — Ланге вывел на стол схему. — Ошибка накапливается нелинейно. Первые минуты перехода компьютер держит расчёт почти идеально, дальше начинается лавина. Если резать маршрут на короткие прыжки — по три-четыре минуты подпространственного времени — и между ними давать компьютеру заново привязаться к реальным звёздам, ошибка не успевает накапливаться. Я прикинул: дорогу домой можно пройти за двенадцать-пятнадцать «шагов». Потери времени — недели, может быть, месяцы. Не годы.

— Откуда такая уверенность? — спросил я. — Пять часов назад никто на этом корабле вообще не знал, что проблема существует.

— Уверенности нет, капитан. Есть расчёт. Всю ночь я не выхожу из моторного отсека — гоняю журналы двигателя, смотрю, как росла ошибка перед срывом поля. И вижу: она копится не ровно, а лавиной — чем длиннее прыжок, тем круче экспонента. Из этого следует единственное лекарство: не давать лавине разогнаться. Отсюда и шаги. Больше мне из телеметрии ничего не выжать. Это не чужая мудрость и не наитие — это чистая математика, и лежит она в наших же журналах, если смотреть достаточно долго и достаточно придирчиво. Метод мой, и я за него отвечаю.

Он помолчал и добавил тише:

— Но идею, что беда вообще возможна, я, каюсь, понял не сам. Когда искал, с чем сравнить кривую, я вытащил из архива старые черновики группы первичного проектирования. — Он развернул планшет ко мне. На пожелтевшем скане, в углу исписанного формулами листа, стояла корявая, знакомая подпись: «П. Волков». — Их автор предвидел эту лавину на годы раньше всех нас. Но, капитан, обратите внимание: способа он не оставил. Ни строчки решения. Только предупреждение, оценки да вопросы на полях. Он увидел эту яму за десять лет до нас. А искать, как её обойти, пришлось нам.

— Пётр, — тихо сказал я.

— Вы его знали? — удивился Ланге.

— Это его конверт сунули мне в руку за день до старта. Не инструкцию — предупреждение: «не верь компьютеру, когда он говорит, что всё в порядке». Он не сказал, что делать. Он только успел крикнуть «берегись» — а решать и лететь пришлось нам. Если бы не тот крик, мы бы и сейчас доверчиво шли по приборам, всё дальше в глубь времён.

Асгейрссон всё это время не выпускал планшет с черновиками и вдруг сказал, не поднимая глаз:

— Здесь есть кое-что помимо расчётов. На полях, сбоку, другой рукой и, судя по чернилам, позже. Не формула — фраза. — Он прочёл её вслух: — «Мы спрашиваем как далеко. А надо — как поздно. Спрашиваем где. А надо — когда». — Он поднял глаза, и мне не понравилось, какие они были. — Капитан, я тридцать лет занимаюсь физикой континуума. Есть способ понять, почему двигатель пускает нас только вперёд и никогда назад, — способ куда проще

моей выделенной системы отсчёта, простой до неприличия. Но за него в приличном обществе перестают подавать руку: доказать его нечем, а верить в него не хочется. Ваш друг, судя по этой строчке, подошёл к нему вплотную. Я подходил тоже — и отступил. — Он вернул мне планшет. — Очень надеюсь, что он ошибся. Потому что если он прав, то мы не заблудившийся корабль. Мы — что-то куда более беспомощное, и я пока не хочу знать, что именно.

Я обвёл взглядом собравшихся.

— Итак. Варианты. Первый: остаёмся здесь, исследуем систему Центавра, как и было приказано. Формально приказ никто не отменял.

— И он единственный, при котором мы точно живы через год, — сказал Сингх. — Дома нас ждёт то, что за шесть часов съело флот. Я не предлагаю. Я прошу занести, что вариант был.

— Занесено.

— Приказу одиннадцать лет, и его некому подтвердить, — тихо сказала Крамер.

— Второй вариант: идём домой на атомных двигателях. Тридцать с лишним лет, экипаж состарится в дороге, но без единого прыжка. Третий: метод Ланге. Короткие шаги. Возвращаемся за месяцы — но каждый прыжок — это риск, и сколько времени он у нас украдёт, мы узнаём только на выходе.

— Есть ещё одно соображение, капитан, — подал голос Асгейрссон. — Прежде чем выбирать дорогу, надо понять, от чего именно замолчала Земля. Я проанализировал последние сутки её вещания, до самого обрыва частот. Мбеки, дайте запись.

Связист коснулся пульта. Кают-компанию заполнил сухой шелест помех, сквозь который пробивался голос диктора службы новостей — обычный, скучный, поставленный. Он читал плановую сводку: урожаи гидропоники на орбитальных фермах, график грузовых запусков, погода в жилых куполах. Потом голос дрогнул, и в динамиках щёлкнула аппаратура.

— ...прерываем выпуск. Служба планетарной обороны сообщает о множественных... — тяжёлый треск, — ...объекты вышли из подпространства в районе орбиты Юпитера. Повторяю: неопознанные объекты, количество уточняется, на международные запросы не отвечают. Всем гражданским судам системы предписано... — снова треск, длинный, удушающий. — ...это не учения. Флот выдвигается на перехват. Да поможет нам...

Голос утонул в помехах. Секунд тридцать эфир хрипел, рвался и свистел, потом сквозь шум прорезался другой голос — женский. Он срывался, но старался быть спокойным:

— ...всем, кто нас ещё слышит. Работает резервный передатчик станции «Гея-4». Земля подверглась массированной атаке. Орбитальная группировка уничтожена в течение шести часов. Они бьют прицельно по всему, что излучает электромагнитные волны. Немедленно отключайте передатчики. Отключайте вообще всё. Если кто-то слышит нас — ради бога, не отвечайте, не...

И всё. Мбеки ещё минуту держал приём, хотя держать было нечего.

Мы сидели не шевелясь. Пятнадцать тысяч человек на борту, и каждый из них оставил на Земле кого-то, кто одиннадцать лет назад махал нам вслед с причала.

— «Они вышли из подпространства», — по слогам повторил Асгейрссон. — Господа, вы понимаете, что это значит? За четыре с лишним года до атаки из подпространства в Солнечной системе вышел только один объект. Точнее — вошёл в него, и вошёл с таким импульсом, какого не закладывали. Мы. Наш прыжок был первым макроскопическим возмущением подпространства в этом районе Галактики. Мы словно с размаху ударили в колокол. А потом кто-то пришёл на звук.

— Вы обвиняете нас в... — глухо начал Сингх.

— Я никого не обвиняю, майор. Я констатирую последовательность событий. И делаю вывод: каждый наш следующий прыжок может быть таким же колоколом для тех систем, куда мы прыгнем.

Все посмотрели на меня.

— Решение, — сказал я, поднимаясь. — Идём домой методом Ланге. Короткими шагами, с максимальной паузой между прыжками — пусть звонит наш колокол как можно тише и реже. Курс — Солнечная система. Если Земля погибла, мы обязаны это увидеть своими глазами. Если кто-то выжил — у нас на борту криомодули на полтора миллиона человек, госпитали, заводы и воздух, которого хватит на поколения.

Никто не возразил. Крамер кивнула последней.

— Ланге, готовьте программу прыжков. Сингх — с этой минуты корабль живёт по боевому расписанию. Учения авиакрыла — ежедневно. Асгейрссон, ваша группа изучает всё, что мы знаем о том, как «они» находят цели. Мбеки — полное радиомолчание. Слушать всем, не передавать ничего. Выполнять.

Оставалось последнее. Я отменил собственное разрешение. Мбеки выслушал молча и переспросил один раз — не «почему», а «до какого числа». Я сказал: до особого распоряжения. Он кивнул и пошёл снимать с очереди две тысячи триста одиннадцать заявок. Снимал он их по одной, и каждому объяснял сам — я узнал об этом случайно, через неделю, услышав разговор техников в столовой, и говорили там не обо мне, а о нём.

Крамер дождалась, пока разойдутся, и осталась.

— Одно замечание, капитан. Боевое расписание.

— Слушаю.

— На борту пятнадцать тысяч человек. Кадровых военных — четыреста, включая всё авиакрыло Сингха. Остальные — геологи, биохимики, монтажники, врачи, три с половиной тысячи гражданских техников. Вы объявили боевое расписание кораблю, у которого нет команды, чтобы его нести.

— Через год будет.

— Через год у меня будут пятнадцать тысяч гражданских, умеющих бегать по тревоге. Это не то же самое, что уметь воевать, и разница выясняется один раз и сразу. — Она помолчала, глядя на меня в упор. — Я не прошу отменять. Я прошу помнить, из кого он состоит, когда вы будете решать, куда его послать.

— Запомню, — сказал я.

Глава 4. Шаги через бездну

Первый короткий прыжок мы сделали через десять часов, когда остыли генераторы. Три минуты подпространственного времени. Три минуты слепого «молока» за бортом, три минуты, за которые на мостике никто не дышал.

Выход. Встряска — гораздо мягче первой. Звёзды.

— Навигационная?

— Привязка есть... Прошли ноль целых двадцать девять сотых светового года. Отклонение по времени... — Танака подняла голову и первый раз за эти сутки улыбнулась. — Шесть суток, капитан. Мы потеряли шесть суток. Не лет — суток.

По мостику прокатился общий выдох. Ланге на своём посту молча сжал кулак.

Так началась наша дорога домой. Прыжок — пауза — привязка к звёздам — перерасчёт — снова прыжок. Мы шли, как идёт человек по льду весенней реки: короткими шагами, замирая и слушая, не трещит ли бездна под ногами. Каждый шаг съедал от четверти до половины светового года и стоил нам от четырёх до девяти суток обычного времени. После каждого выхода Ланге со своей группой на несколько часов зарывался в журналы двигателя и уточнял модель; к шестому прыжку она стала давать надёжный прогноз. Черновики Петра он держал на отдельном экране, как икону.

Корабль тем временем становился другим. Боевое расписание, введённое после совета, из формальности превратилось в быт. Сингх гонял свои экипажи по двенадцать часов в сутки; пять истребителей и десять разведчиков стали двадцатью — лаборатория-мастерская, задуманная под исследовательские зонды, круглосуточно печатала и собирала корпуса по чертежам, которые Сингх с Крамер перекраивали под единственную задачу: воевать с тем, чего никто из нас не видел.

Асгейрссон со своей группой раз за разом прогонял запись последних часов Земли, выжимая из обрывков всё, что можно: «они бьют по всему, что излучает...» — значит, наводятся на электромагнитный след; вышли у Юпитера — значит, умеют прыгать в гравитационный колодец звезды куда точнее нас; уничтожили орбитальный флот за шесть часов — значит, о прямом бое лучше не думать вовсе.

Менялись и люди. В первые недели после совета стало тихо так, как бывает у постели тяжелобольного. Инженеры-исследователи, набранные изучать чужие миры, вдруг оказались командой ковчега, идущего к пепелищу.

Кто-то ломался. На третьей неделе ко мне привели биолога — тихого человека по фамилии Верма, — который заперся в оранжерее и отказывался выходить, повторяя, что не желает участвовать в «похоронной процессии длиной в полгода». Я не стал давить, просто спросил его, кто, если не он, вырастит зелень для полутора миллионов человек, которых мы, быть может, поднимем с Земли. Он посмотрел на меня так, будто я ударил его, — и вернулся к своим лоткам. С того дня оранжерея Вермы стала расти вдвое быстрее плана.

По вечерам — мы держали условные «вечера» по корабельным часам, чтобы не потерять счёт человеческому времени в этой безвременной дороге — Крамер завела странный обычай. Она собирала в кают-компании всех свободных от вахты и заставляла рассказывать про дом. Не про то, что мы потеряли, — про то, что было хорошего. Кто-то вспоминал запах моря под куполом Одессы, кто-то — как учил дочь кататься на велосипеде по единственной незадымлённой аллее Аделаиды. Поначалу это казалось мне сентиментальной глупостью, почти жестокостью — бередить рану. Потом я понял, что делает Ева.

Я просидел на этих вечерах с десяток раз и запомнил несколько.

Мбеки вырос без купола — в горах, где куполов не ставили, потому что незачем: воздух там был плох только четыре месяца в году, и на эти месяцы выдавали фильтры на семью.

Рассказывал он не про горы. Он рассказывал про дождь: как за час до дождя от нагретого камня начинает идти запах, не похожий ни на что, и как все выходят из домов и просто стоят. И ещё про приёмник — у матери был старый, и по ночам она ловила чужие станции, которых не понимала ни на одном языке, и слушала просто голоса. «Я потому и связист, капитан».

Верма рассказывал про отцовский балкон под куполом Мумбаи, где на трёх квадратных метрах, под лампой, упрямо росли четыре куста помидоров. Отец раздавал урожай соседям поштучно и вёл тетрадь, кому в каком году сколько досталось. Верма говорил, что тетрадь была толще урожая и что в этом всё и дело.

Ланге пришёл один раз. Просидел вечер у стены, не сказал ни слова, ушёл первым и больше не приходил; Крамер перестала его звать и никогда его этим не попрекнула. У неё был на него свой счёт, и она его берегла.

А третье я запомнил не как рассказ, а как отсутствие. Правило у Крамер было такое: только хорошее и без имён живых, — про живых нельзя, потому что тогда получается не воспоминание, а список ожидания. Строже всех правило соблюдала она сама: не рассказала ни разу. Однажды я спросил её об этом наедине.

— Расскажу, когда вернёмся, — сказала она.

— А если не вернёмся, Ева?

— Тогда тем более незачем.

Я не рассказал тоже — ни разу за всю дорогу. У меня было то окно на третьем ярусе, старик, который не ловил, а сидел, и женщина, сказавшая «значит, до сентября». По правилам Крамер про это нельзя: только хорошее тут не выходит.

Ещё об одном я тогда не говорил вслух, но ходил туда почти каждую неделю.

Криогенных модулей на «Сириусе» пять. В каждом по триста тысяч камер: восемь ярусов, коридоры по семьсот метров, ячейки уходят вверх и вниз так, что если встать посередине и посмотреть вдоль ряда, перспектива сойдётся раньше, чем ряд кончится. Строили это под тот день, когда «Сириус» уйдёт к своей звезде насовсем и повезёт город. В пробный поход мы вышли с пустыми модулями: пятнадцать тысяч человек живут на жилых ярусах, им хватает двух.

Полтора миллиона пустых ячеек — это тишина особого сорта. Свет там дежурный, синий, потому что белый незачем; воздух сухой; на каждой крышке номер и пустая рамка под карточку жильца. Обходчик проходит модуль раз в двое суток и расписывается на терминале, и вся его работа — удостоверить, что ничего не изменилось в помещении, где нечему меняться.

До совета я заходил туда, как заходят в цех: посмотреть, всё ли исправно. После совета стал заходить иначе. Я стоял в синем свете и считал. Полтора миллиона мест. Одиннадцать миллиардов внизу. Если хоть кто-нибудь из этих одиннадцати миллиардов ещё дышит и ждёт, то у нас есть место ровно для одного из семи тысяч трёхсот. Цифру я проверил дважды, потому что с первого раза не поверил.

Об этом я не сказал никому, включая Еву, — и напрасно. Но именно там, в синем свете, у меня появилась мысль, которая потом стоила мне дороже всего: что самое трудное решение похода будет не о том, куда идти и как драться, а о том, кого класть в эти ячейки.

Между седьмым и восьмым прыжком я попробовал сократить дорогу.

Арифметику я проделал ночью, один, на полях вахтенного журнала. Шаг в четверть светового года стоил нам шести суток безвременья и ещё почти суток на охлаждение генераторов, привязку к звёздам и перерасчёт. До Солнца оставалось около двух с половиной световых лет — восемь таких шагов, девять. Если удвоить длину шага, шагов станет вдвое меньше, а вместе с ними уйдут и все промежуточные стоянки. Сколько я ни пересчитывал, выходило одно и то же: недели три.

Три недели — ничто на карте и очень много там, где кто-то ждёт. Я тогда ещё не знал, что кто-то действительно ждёт и что это место называется «Бункер-семь»; я знал только, что мы

идём к пепелищу, а на пепелище иногда ещё греются руки. Утром я вызвал Ланге и положил перед ним свои поля.

Он читал долго — дольше, чем нужно, чтобы прочесть двадцать строк. Потом выпрямился и сказал:

— Нет, капитан.

Я не сразу понял, что услышал. За всю дорогу Отто Ланге не сказал мне «нет» ни разу. Он говорил «есть», «принято», «докладываю».

— Объясните.

— Модель предсказывает временну́ю ошибку с точностью до суток на переходах от двух десятых до пяти десятых светового года. Это вся область, где у меня есть данные. Шесть десятых лежит за её краем. — Он говорил, как читают инструкцию. — За краем у меня нет модели. У меня есть карандашная линия, продолженная за обрез листа.

— У нас семь точек, Отто. Кривая гладкая.

— Кривая гладкая, потому что мы ходили только там, где она гладкая, — сказал он. — Это свойство не кривой, капитан. Это свойство наших ног.

Я сказал, что мне не нужна гарантия, мне нужна оценка. Хоть какая. Пусть с погрешностью в двое суток, в четверо, в неделю.

— Оценку я вам дать не могу. Число могу. — Он чуть повернул голову. — Числа у меня красивые, они получаются из формулы, я напишу их вам через час, и в журнале они будут выглядеть точно так же, как настоящие. Разница одна: за настоящие я отвечаю, а за эти — нет.

Я разозлился. Помню и сейчас, спустя годы, как именно разозлился: не на него — на то, что человек, у которого нет ответа, стоит и держит дверь.

— Рассчитайте переход в шесть десятых, — сказал я. — Это приказ.

— Прошу письменно.

— Что?

— Письменно, — повторил он. — С формулировкой: «рассчитать переход длиной шесть десятых светового года по модели вне области её применимости». Исполню в течение суток.

— Вы понимаете, как это выглядит?

— Понимаю. Выглядит как страховка труса. — Голоса он так и не повысил. — Это не страховка, капитан. Это чтобы тот, кто через сто лет откроет журнал, прочёл, чем именно мы рискнули и кто именно на это пошёл. Чертёж — документ. Приказ — тоже документ.

Я сказал, что подпишу.

И тогда он сделал единственное за весь тот разговор, чего я не ожидал: сел. Ланге не садился у меня в каюте никогда — стоял у притолоки, ровный, как швартовная тумба. Он сел, положил тяжёлые руки на колени и заговорил:

— Подпишете. А я вам расскажу, откуда знаю, чем это кончается. Изделие «ГД-02». Одиннадцать пусков. Масса — килограммы, ход — часы, и все одиннадцать раз всё сошлось, точка в точку. А на двенадцатый мы взяли ту же кривую, продлили её на тридцать миллионов тонн и назвали продолжение расчётом. Я его не считал, капитан. Я его подписал. Моя фамилия в акте третья снизу.

Он посмотрел на свои ладони.

— Одиннадцать лет. Может быть, Земля. Я не знаю, что было бы, приди мы вовремя, и никогда не узна́ю, и это моё, я с этим живу. Но расчёт вне области применимости я второй раз не подпишу. Ни по приказу, ни без.

Я молчал долго. Мне очень хотелось сказать, что он передёргивает: что между продлением кривой в двадцать миллионов раз и продлением её на одну пятую лежит расстояние, которого нельзя не видеть. Это было правдой. И это ничего не меняло — потому что граница у знания одна, и она либо есть, либо её нет, и тот, кто однажды перешагнул её на двадцать миллионов, теряет право объяснять, что теперь-то он перешагивает всего на одну пятую.

— Ходим по четверти, — сказал я.

Он встал.

— Разрешите идти.

— Идите, Отто.

Он ушёл к своим журналам и забыл об этом разговоре к вечеру. Я не забыл. В тот же день я вписал в вахтенный журнал — своей рукой, не рукой вахтенного офицера, — что главный инженер отказался исполнить устный приказ капитана и что приказ отменён. Формулировку я выбирал полчаса и остановился на самой короткой: «Отказ обоснован». Мне казалось важным, чтобы это осталось. Тогда я думал — важным для Ланге.

На девятом прыжке мы впервые увидели след.

— Капитан, аномалия, — доложил Асгейрссон, когда мы висели в пустоте в полутора световых годах от Солнца, ожидая охлаждения генераторов. — Датчики подпространственного фона фиксируют остаточную структуру. Это кильватерный след, как у нас после прыжка, только... шире. Старше. И он не один.

На экране, в условных цветах, пустота вокруг нас была не пустотой. Сквозь неё, как шрамы, тянулись длинные затухающие полосы — три, четыре... семь. Все семь сходились пучком в одну сторону.

К Солнцу.

— Возраст следов?

— От четырёх до семи лет. Они ходили туда не один раз, капитан. Они ходили туда годами.

— А обратные следы?

Асгейрссон помолчал.

— Обратных следов четыре. Три следа ведут только туда.

Крамер спросила то, о чём молчали все:

— Профессор. Если каждый прыжок — разрыв, как писал ваш Волков, то мы за эту дорогу нарвали девять дыр. Прямо у них под носом. Почему они не пришли ни разу?

Асгейрссон долго смотрел на семь старых шрамов, потом заговорил медленно, будто складывал доказательство вслух:

— Потому что «разрыв» — слово для одного прыжка. Мы со страху приложили его ко всем девяти. Смотрите. Первый прыжок, от Марса, был чем? Слепой удар всей массой корабля — тридцать миллионов тонн, вбитых в сеть одним махом, на всю длину перехода. А эти девять — короткие шаги Ланге, по три-четыре минуты, вдоль редких нитей здесь, в межзвёздной глуши, где сеть натянута реже всего. Игла протыкает ткань, и ткань смыкается за ней. Топор рвёт нить.

Он набросал на экране грубую схему — на пальцах.

— У повреждения сети три множителя. Первый — масса: амплитуда возмущения растёт с ней круче, чем сама масса, так что ковчег бьёт в миллионы раз сильнее прототипа. Второй — резкость: один долгий прыжок сотрясает нить по всей длине, а короткий шаг едва её качнёт и даёт улечься, прежде чем качнуть снова. Третий — состояние самой нити: здоровая нить, как добрая рессора, разбирает толчок по всей паутине, растаскивает его в мелкую дрожь, — и только уже надорванная рвётся вся, разом. Перемножьте все три. Короткий шаг малой резкости по здоровой нити в пустом секторе — это дрожь, рябь, которая гаснет через пару световых лет и никого не будит. А наш первый прыжок был долгим ударом всей массы — и, я почти уверен, по нити, которая возле Солнца была уже чем-то надорвана. Оттого он и прозвучал колоколом на весь сектор, а эти девять — комариным писком.

— И у «стражи» есть порог, — тихо добавил Ланге. — Она слышит не всякую дрожь, а ту, что выше порога и ближе некоторой дальности; дальнее и слабое до неё доходит рябью,

ниже тревоги. Мы всю дорогу шли короткими шагами не только чтобы не терять годы — чтобы держаться под этим порогом.

Он сказал это, глядя в схему, и на меня не посмотрел ни разу. Я на него посмотрел. Между четвертью светового года и шестью десятыми, если верить схеме Асгейрссона, лежала не разница в удобстве — там лежал порог, за которым рябь становится колоколом. Перед восьмым прыжком я приказывал этот порог перешагнуть. Я торопился к живым. Ланге тогда не знал ни про стражу, ни про порог. Он знал только, что у него кончились цифры, и упёрся в это, как упираются в стену. «Отказ обоснован» я записал, думая, что делаю это для него. На самом деле — для себя. За всю оставшуюся дорогу я не отдал ни одного приказа в его области, не спросив сперва, где кончаются его цифры.

— Значит, у Солнца нас услышат. Там нить надорвана, там висит сторожевой механизм, и там любой наш прыжок будет не писком, а ударом в колокол прямо у него над ухом.

— Именно поэтому, — кивнул Асгейрссон, — последний шаг к дому надо пройти вообще без прыжка.

— Ланге, сколько шагов осталось?

— Три, капитан.

— Делаем два. Последний шаг пройдём на атомных, сколько бы это ни заняло. К Солнцу мы подойдём тихо.

— Тогда рассчитываю оба так, чтобы второй вынес нас к самой кромке гелиосферы, — сказал Ланге. — Оттуда до Солнца полторы сотни астрономических единиц. Месяцы на атомных, капитан. Не годы.

Линия Земли. Документ 2

Из личного дневника главного конструктора проекта «Галактика» Генриха Кёнига. Файл восстановлен из архива одного из уцелевших наземных узлов.

14 марта 2112 года. Они стартовали. Вся Земля ликует, а я сижу над кривой Волкова и пью — второй вечер подряд, чего не позволял себе двадцать лет. Считаю. Если «Сириус» ушёл в прыжок с массой в тридцать миллионов тонн, то по степенной зависимости эхо вернётся в стартовую область через тысячу шестьсот суток. Тысяча семьсот пятьдесят. У беспилотника было сорок. То есть между июлем и декабрём шестнадцатого года. И это будут не наводки в сетях. Я тридцать лет строил корабли, чтобы спасать людей. Кажется, я построил колокол — и человечество только что ударило в него со всей силы. Господи, пусть я ошибся в расчётах. Как я хочу ошибиться в расчётах.

2 июня 2113 года. «Сириус» не вернулся в срок. Объявлен пропавшим. В залах выключили музыку. Служат панихиды по экипажу. А я один знаю, что молиться надо не за упокой: компьютер не справился с расчётом, их снесло по времени, и если Волков прав в остальном — они живы, просто вернутся позже, чем кто-либо ждёт. Я сказал это на комиссии. Мне выразили сочувствие в связи с переутомлением и предложили отпуск. Отпуск.

29 января 2115 года. Добился приёма у Нокса — того самого директора Службы, что шесть лет назад выгнал Волкова с формулировкой о неполном служебном соответствии. Показал полную выкладку: эхо макропрыжка, оценку энергии, окно прихода. Просил немногого: к лету шестнадцатого свернуть орбитальную инфраструктуру и обесточить крупные сети и передатчики — по моей модели волна разряжается через всё, что проводит и держит заряд, как молния через громоотводы. Погаси громоотводы — и, может, обойдётся царапиной. Мне было сказано, что паника вокруг «Галактики» повредит второй очереди проекта, а моя модель «неотличима от нервного срыва на почве чувства вины». Чувство вины. Он произнёс это так, будто в чём-то меня уличил. А ведь он прав: вина есть. Я подписал старт.

Дата смазана, зима 2116-го. Не сплю. Пересчитываю кривую в сотый раз, ищу ошибку в свою пользу — и не нахожу. Иногда мне снится Волков — не тот, гонимый, которого я не защитил, а прежний, из первых лет проекта, когда мы ещё смеялись у одной доски. Во сне он ничего не говорит. Просто смотрит и качает головой. Я просыпаюсь и иду проверять сводки сейсмики. Пусто. Ещё не время.

8 августа 2116 года. Окно открыто уже месяц. Ничего. Каждое утро проверяю сейсмику и энергосети — ничего. Может быть, я ошибся в показателе степени, и эхо придёт лишь в восемнадцатом — придёт рябью, ниже всякого порога. Может быть, мы с Волковым — просто два перепуганных математика, и вся кривая — артефакт выборки из одиннадцати точек. Господи, пусть мы будем двумя дураками. Я готов до конца жизни ходить в дураках, чтобы люди тыкали пальцем, — только пусть окно закроется пустым.

11 августа 2116 года. Завтра лечу в Женеву, на юбилей проекта. Не хотел, но откажешься — снова разговоры о переутомлении. Речь писать не стану: скажу как есть — что горжусь кораблём и жду его назад. Это чистая правда: я жду «Сириус» назад больше всех на этой планете. Больше матерей, чьи сыновья на борту. Потому что если он вернётся — значит, я ошибся в расчётах, и всё это было бредом усталого старика. Как я хочу оказаться усталым стариком. Молюсь, чтобы старик ошибался. — Г. К.

Запись от 12 августа 2116 года в файле отсутствует.

ЧАСТЬ II. ДОМ Глава 5. Мёртвый причал

Последние два месяца пути «Сириус» шёл, выключив всё, чем можно было пожертвовать. Активные радары молчали — мы слушали пространство пассивными датчиками, как слепой слушает шаги. Связь внутри эскадры — только по кабелю или узким лазерным лучом от корпуса к корпусу. Даже навигационные огни, положенные по регламенту, который писали люди, семь лет как переставшие что-либо писать, — даже их мы погасили.

Километровая гора металла, город на пятнадцать тысяч душ, кралась через собственную Солнечную систему на цыпочках, боясь скрипнуть.

За эти два месяца корабль изменился, и я не сразу понял, в чём. Потом понял: он замолчал не только в эфире. Смех в кают-компаниях стал тише, шаги — короче, приказы отдавали вполголоса, будто громкий звук мог долететь до Земли раньше нас и разбудить то, что там спало. Мы ещё ничего не видели, а уже вели себя как на похоронах. Тело было впереди, за орбитой Марса, и весь экипаж это чувствовал кожей.

Тишину на корабле пришлось вводить приказом, и приказ этот оказался самым странным из всех, что я подписывал. Отменить громкую связь. Отменить сирены — вместо них световые табло и посыльные. Перевести все внутренние оповещения на кабель и на бумагу. Разведчикам — не вылетать. Радистам — сидеть на приёме и не касаться ключа даже на тренировке, потому что рука помнит.

Физического смысла в половине этого не было никакого. Звук не выходит из корпуса в вакуум; кричи в кают-компании хоть сутки — снаружи не услышит никто и никогда. Я знал это, Асгейрссон знал это, знал любой второкурсник. И тем не менее через неделю после приказа я обнаружил, что в мастерских Крамер ручки ключей обмотаны войлоком, что тележки катят на самодельных резиновых бандажах, а в третьем машинном повесили табличку от руки: «Не ронять».

Я спросил Еву, зачем это. Она пожала плечами:

— Люди просят, капитан.

— Это суеверие, — сказал Асгейрссон на очередном рапорте. — Мы прячемся от того, что нас не слышит, способом, который не работает. Прошу зафиксировать.

— Фиксируйте, — сказал я. — Войлок оставить.

Я оставил его сознательно. Пятнадцать тысяч человек шли два месяца к тому, чего никто из них не хотел увидеть, и им нужно было каждый день делать против этого хоть что-нибудь своими руками.

Ланге пришёл ко мне на пятой неделе с папкой.

Он не спорил. Он никогда не спорил о решениях — он спорил только о том, где кончаются цифры, и приносил их так, как приносят счёт.

— Я не прошу отменять режим, — сказал он с порога. — Я прошу назвать его цену вслух и записать. Вот наряды за четыре недели до приказа и за четыре недели после. Ошибок при переключениях — рост в два и три десятых раза. Пропущенных квитанций — в четыре. Средний сон вахты упал на сорок минут; это не оттого, что тихо, а оттого, что человек, которому запрещено окликнуть, всё время слушает сам. Я не говорю, что режим неверен, капитан. Я говорю, что он стоит денег, и деньги мы уже платим, просто пока не в тех единицах, которые видно.

— Ваше предложение?

— У меня нет предложения. У меня есть число. Предложение — ваша работа. — Он положил папку на стол и не сел. — Одно замечание сверх бумаг: молчание не бесплатно ни для одного живого существа, и особенно для тех, кто молчит по приказу. Через два месяца люди перестанут думать вслух. Ещё через два — перестанут думать при других. Дальше я не считал.

Я поблагодарил его и режим не тронул. И был прав в главном: заговори мы хоть раз в те два месяца, эту книгу писал бы не я. Ланге, как всегда, считал точнее.

Случилось это на сорок первые сутки, в переходном тамбуре шестого яруса. И не со мной. Плановое обесточивание секции, оповещение — светом, потому что ревун отменён; слесарь-наладчик Юссеф Хаддад стоял к табло спиной, в проёме гермодвери, головой в кабельном коробе.

Напарник крикнул. Крик отменили приказом пять недель назад; приказа он не помнил, но горло за это время отвыкло — он крикнул вполголоса. Дверь пошла. Хаддад успел увернуться и не успел убрать левую руку.

Ланге дописал в свою папку одну строку и принёс её мне через сутки. Я взял перо и вписал в журнал сам, своей рукой, чтобы стояло от моего имени: «Цена режима тишины — левая кисть слесаря Хаддада, шестое отделение».

Ланге прочёл, кивнул и сказал:

— Это не цена режима, капитан. Это первый платёж.

Но в тот вечер я закрыл журнал и ещё три недели вёл корабль на цыпочках, зная про себя, что делаю это правильно.

Солнечная система встретила нас тьмой и обломками.

Первым, что мы увидели, был марсианский строительный док — тот самый, из которого «Сириус» вышел в первый и единственный официальный полёт. Разведчик Сингха прошёл в тридцати километрах и передал картинку по лучу, и на главном экране мостика развернулось то, от чего у меня свело зубы.

Дока больше не было. Была стальная роза диаметром в четыре километра, развёрнутая взрывом изнутри, и в её лепестках, среди ферм и лопнувших сфер-резервуаров, висели два огромных недостроенных корпуса. Два корабля серии «Галактика», заложенные после нашего старта, — те самые близнецы «Сириуса», ради которых мы и летали на пробу.

У ближнего корпуса, «Веги», — имя уже нанесли на носовую броню, огромными буквами, которые теперь читал только мёртвый космос, — зияла пробоина от кормы до середины: удар пришёлся в реакторную зону. Второй корпус, которому предназначалось имя «Альтаир», так и не дожил до своих букв.

— Капитан, — тихо сказала Крамер, не отрывая глаз от экрана, — обратите внимание на кромки пробоин. Металл не рваный. Он... оплавлен и закручен. Словно его не пробивали снаружи, а выкручивали изнутри, с мясом.

Она была права. Я видел, что бывает от кинетического удара, от лучевого, от подрыва. Это было не то.

— Зафиксировать всё для анализа, — сказал я. — Сингх, что с Фобосом? Там была база флота.

— Базы нет, сэр. Только свежий по астрономическим меркам кратер.

Асгейрссон всё это время не отходил от бокового экрана. Он смотрел на них дольше, чем требовалось для съёмки, и наконец сказал — не мне, а куда-то в стекло:

— Вы понимаете, что мы задачу выполнили?

Я не сразу понял, о чём он.

— Испытание считается успешным, если изделие вернулось и его данные приняты к рассмотрению. Мы летали ради этих двоих. Ради «Веги» и «Альтаира». Мы должны были пройти дорогу первыми, вернуться и сказать, что она проходима, чтобы их достроили и отправили следом. Изделие вернулось. Данные принимать некому.

— Профессор...

— Я не жалуюсь, капитан. Я формулирую. — Он снял очки и протирал их всё время, пока говорил. — Всю жизнь я думал, что худшее, что может случиться с исследователем, — это отрицательный результат. Оказалось, есть хуже: результат положительный, полученный

вовремя и по всем правилам, и никого, кто мог бы им воспользоваться. У «Веги» уже написано имя. Имя пишут последним, когда корабль почти готов. Ей оставалось меньше года.

Сингх, стоявший у люка, сказал негромко:

— На «Вегу» уходили двенадцать моих. По списку перевода, за месяц до старта. Я тогда обиделся, что забирают лучших.

Никто ему не ответил. Мы стояли и смотрели на стальную розу в четыре километра, и я думал, что человечество не успело даже толком проиграть — оно не успело закончить.

Мы двинулись дальше, к Земле, и по дороге пустота продолжала рассказывать, и рассказ был один и тот же, повторённый на десятки ладов. Пояс орбитальных заводов — обломки. Верфи Луны — обломки. Сама Луна с обратной стороны светилась в инфракрасном диапазоне странным ровным теплом, происхождения которого Асгейрссон объяснить не мог, и это тепло нравилось мне меньше всего увиденного — потому что всё остальное было мёртвым, а оно было тёплым.

Станции дальней связи, гордость двадцать второго века, огромные раскрытые уши, которыми человечество слушало Вселенную, — аккуратно, одна за другой, превращены в облака мусора. Кто-то методично, не торопясь, лишил человечество сначала голоса, потом рук, потом глаз.

И только один объект на нашем пути уцелел. Старый автоматический буй аварийной службы, запущенный ещё до моего рождения, — слишком мелкий, слишком мёртвый, слишком безголосый, чтобы тратить на него удар. Его аккумуляторы давно сдохли, но записывающий контур был цел, и импульс питания с разведчика вернул его к жизни на несколько минут. Буй честно писал всё, что слышал в эфире, пока эфир существовал, — и мы получили хронику гибели Солнечной системы с отметками времени.

Едва не потеряв на ней всё.

Импульс питания разбудил в буе не только записывающий контур. Мбеки увидел это первым — на его пульте побежал отсчёт, о смысле которого ему не надо было думать ни секунды.

— Капитан, у него взводится аварийный передатчик. Штатная логика: питание есть, борт не отвечает — значит, авария, значит, кричать. Восемьдесят пять секунд.

Восемьдесят пять секунд. Доклад до меня и мой приказ обратно на разведчик по лучу с ретрансляцией — двенадцать. Осознать, повторить, выполнить — ещё сколько-то. В теории мы успевали. В теории мы успевали и на Земле.

Приказ отдал не я. Его отдала Танака — со своего навигаторского пульта, через голову двух старших офицеров и командира авиакрыла, никого не спросив.

— Разведка, я навигационная. Нуньес, буй взведён, до передачи восемьдесят одна. Гасить своим ходом. Огня не открывать, обломки тоже светятся. Работайте.

Лейтенант Нуньес не переспросил. Я слушал его дыхание в кабельном динамике, и это было единственное, что мы слышали следующие полторы минуты. Он подошёл к бую с раскрытым захватом манипулятора, взял его поперёк корпуса и сложил вокруг него створки грузового ковша — глухого, экранированного, предназначенного возить пробы грунта. Потом он затянул створки и ещё раз затянул.

— Готово, — сказал он.

— Что показывает? — спросила Танака.

— Ничего не показывает. Он там кричит, товарищ старший лейтенант. Я это чувствую по вибрации в манипуляторе. Он кричит уже секунд двадцать.

Буй кричал в закрытый стальной ящик тридцать одну минуту — пока не сели остатки заряда, которые мы же ему и дали. Наружу не вышло ничего.

Я вызвал Танаку в штурманскую и сделал ей выговор — по форме, вслух, при вахтенном офицере, за приказ, отданный через голову командира. Она выслушала, не меняя лица, и сказала:

— Товарищ капитан, у нас было восемьдесят пять секунд. Доклад до вас — двенадцать, приказ обратно — двенадцать, осознать и повторить — ещё сколько-то. Разрешите объяснить не оправдание, а расчёт: если разведка ждёт приказа с мостика, у разведки нет восьмидесяти пяти секунд. У неё их шестьдесят.

Сингх стоял у переборки и по всем правилам обязан был обидеться первым. Он сказал:

— Она права, капитан.

Выговор я оставил в силе. Но всякий раз, когда потом приходилось решать, кому доверить чужие жизни, я вспоминал не выговор, а эти шестьдесят секунд.

Мбеки прогнал запись через фильтры и вывел на мостик, и мы слушали молча, все, кто был в рубке. Шесть часов — от первого сигнала тревоги до последнего приказа флота.

Голоса диспетчеров, спокойные, потом всё менее спокойные, потом обрывающиеся. Команды на построение, которых никто не успевал выполнить. Позывные кораблей, замолкающие один за другим — не в бою, а как гаснут лампы в доме, когда вырубает главный рубильник. Мы слушали, как умирает флот, которого мы не знали: за двенадцать лет сменились корабли, сменились позывные, сменились люди. И только один голос я узнал.

Марс-контроль, старший диспетчер Оливейра. Двенадцать лет назад, десятого марта, этот самый голос сказал мне: «Сириус, отход разрешаю. Попутного ветра — у нас его нет, но так положено говорить». Я запомнил её на всю жизнь за эту фразу и никогда её больше не слышал.

На записи она работала. Первые сорок минут — совершенно спокойно, обычным рабочим тоном человека, у которого расписание и очередь на причалы: борту три-двенадцать второй причал, борту «Кассиопея» ждать, борту такому-то поправка по вектору. Потом в её голос вошло то, что входит в голос диспетчера, когда с экрана уходит первая метка, и она ещё держит его ровным. Потом она перестала разводить очередь и стала просто повторять: всем бортам — рассредоточиться, всем бортам — не собираться. Потом — уже без позывных, потому что позывных не осталось: «Слышит меня хоть кто-нибудь?»

Последняя её фраза была служебная. Она приняла борт, которого уже не существовало, — метка на её экране висела мёртвая, а она этого ещё не знала — и сказала:

«Борт три-двенадцать, ваш причал второй, добро пожаловать домой».

Потом Марс-контроль замолчал.

В рубке было двадцать два человека, и никто не пошевелился. Мбеки, не оборачиваясь, спросил, ставить ли отметку в каталог голосов. Я сказал: ставьте. Он поставил.

Асгейрссон потом посчитал по хронометражу записи и сказал мне наедине, что от первого сигнала тревоги до последней фразы Оливейры прошло пять часов сорок минут, и что за это время в эфире не прозвучало ни одного чужого слова: ни требования, ни предупреждения, ни ответа. Только мы, говорящие сами с собой.

— Их даже нельзя назвать врагом в военном смысле, — сказал он. — Враг отвечает. Это как считать врагом ливень.

Потом — переговоры выживших наземных станций, всё короче, всё реже, и в них уже не было ничего военного: были люди, зовущие людей. Потом четыре месяца — только одна передача, слабая, с поверхности Земли; она повторялась каждые тринадцать часов, и я запомнил её наизусть с первого раза:

«Всем, кто слышит. Говорит объединённый узел Бункер-семь. Мы живы. Не отвечайте на этой частоте — они приходят на сигнал. Если вы люди и можете помочь — придите и найдите нас. Северный материк, координатная сетка старой Европы, квадрат...»

Дальше координаты. Потом и эта передача оборвалась — но не на полуслове, как обрывались все остальные, а штатно, ровно, словно передатчик просто выключили и унесли в темноту.

— Они живы, — сказала Крамер. В её голосе не было вопроса.

— Были живы семь лет назад, — поправил Асгейрссон, не поднимая головы от приборов.

— Нет, они живы, — сказал я, и в этот раз никто не стал спорить.

Асгейрссон поднял голову и сказал без обиды:

— Я не спорю с тем, что они живы. Я прошу занести в журнал, что мы этого не знаем.

На мостике посмотрели на него так, как смотрят на человека, поправляющего грамматику в похоронной телеграмме. Я не стал заносить. Мне нужно было, чтобы вахта следующие сутки работала на надежде, а не на вероятности, и я выбрал надежду сознательно. Асгейрссон занёс это себе — я потом видел строчку в его рабочем журнале, с датой и временем. Он вёл такие строчки всю дорогу.

Я смотрел на голубую точку, растущую в перекрестье главного экрана. Земля. Даже отсюда, с четверти миллиона километров, было видно, что рисунок облаков изменился: атмосфера стала грязнее, в ней стояли неподвижные дымные пояса, каких не бывает над живой планетой, — но это была она. Дом. Молчащий, избитый, отравленный, но не мёртвый: пассивные датчики уже ловили на ночной стороне слабые, редкие, тщательно замаскированные точки тепла. Костры цивилизации, ушедшей под землю. Я вырос на орбитальных снимках этой планеты, где ночная сторона горела сплошным золотым кружевом от океана до океана. Теперь на ней было десятка три искр, и каждая пряталась, как прячется огонёк спички в ладонях от ветра.

— Наблюдение капитану... — голос молодого оператора вдруг сел на середине слова. — Капитан, движение. Лунная орбита, точка либрации Эль-два, за тепловым пятном. Объект вышел из тени. Масса порядка ста тысяч тонн. Форма... сэр, лучше посмотрите сами.

На экране, в пепельном свете ущербной Земли, разворачивалось то, что оставили здесь хозяева всех этих обломков. Оно было похоже на семя чертополоха, отлитое из тёмного стекла, — веретено с бахромой длинных гибких игл, и иглы эти лениво шевелились, как водоросли в невидимом течении. Ни двигателей, ни огней, ни антенн, ни единого признака того, что мы называем кораблём. Сто тысяч тонн неподвижного внимания, повёрнутого к Земле.

— Сторож, — сказал Сингх.

Я спросил шёпотом:

— Он нас видит?

— Мы идём на атомных, но в эфире мы немы — ни одной работающей антенны, ни одного сигнала. — Асгейрссон наконец оторвался от приборов. — Выхлоп двигателей, конечно, не спрячешь, тепло видно за парсек; но всё, что мы поняли по гибели Земли, говорит одно: эти твари наводятся не на жар, а на голос — на радио, на связь, на всякий крик в эфире. Тёплых камней в системе без счёта, а мы вдобавок ещё и молчим. Если он ловит цель так же, как ловили те, что били по Земле, — мы для него тёмный немой камень на тёмном фоне. А если чем-то ещё, чего я не знаю... вот это пугает меня больше, чем то, что он тут висит.

Ланге дождался, пока я закончу говорить, и подошёл вплотную — так, чтобы слышал только я.

— Капитан, у нас на борту есть то, чего мы не выключали. Аварийный радиомаяк корпуса. Он не подчинён вахте и не имеет выключателя по конструкции: разгерметизация, потеря хода или гибель экипажа — и он начинает передавать сам, на всех частотах, координаты и позывной, и передаёт год. Так строят все корабли уже двести лет.

До меня дошло раньше, чем он договорил.

— Отключить.

— Я могу его только снять. Физически, с кабелем, вдвоём, за шесть часов. Обратно поставить — те же шесть часов, но с наружным выходом. — Он помолчал. — Я обязан сказать вслух, что это значит. Если с «Сириусом» что-нибудь случится, не останется ничего, что позвало бы на помощь и сообщило, где мы. Ни сигнала, ни координат, ни позывного. Мы просто перестанем быть, и никто никогда не узнает, в какой точке.

За два месяца тишины я успел привыкнуть, что мы молчим. Мне не приходило в голову, что молчать можно и после смерти.

— Снимайте, — сказал я.

Он снял его в ту же вахту и принёс мне на мостик — чёрную коробку размером с буханку хлеба, с потемневшим от старости шильдиком и заводским номером. Я расписался в приёмке. Коробка пролежала у меня в сейфе всю дорогу, рядом с пеналом, о котором я тогда ещё не знал, и я доставал её чаще, чем следовало.

Иглы веретена шевелились всё так же лениво. Оно не двинулось с места, не повернулось, ничем не показало, что заметило в своей системе чужую километровую гору. Оно просто ждало, повёрнутое к планете.

— Оно не среагировало на нас, потому что мы молчим. — Я остановился. — Оно ждёт не корабля. Оно ждёт сигнала. Все эти годы оно висит здесь и слушает, не заговорит ли Земля снова. Вот почему «Бункер-семь» штатно выключил передатчик и унёс его. Они поняли то, на что нам понадобилось два месяца красться: голос здесь убивает.

Я перевёл дыхание.

— Экипажу — полная тишина, режим до особого распоряжения. Сингх, разведчиков не выпускать. Танака, курс к Земле — по дуге, всё время держа планету между нами и этой штукой. Садиться будем на дневной стороне, в грозовом фронте, в атмосферном шуме.

«Сириус» пошёл к родной планете длинной, вороватой дугой, прячась за собственным домом от того, что сторожило дом. А позади нас, в точке, где сходятся невидимые гравитационные ниточки Земли и Луны, лениво шевелило иглами чужое семя — терпеливое, как сама пустота, и, как пустота, готовое ждать хоть до конца времён.

Глава 6. Бункер-семь

«Сириус» не строили для посадки на планеты. Он собирался на орбите и должен был на орбите умереть, через сто или двести лет, где-нибудь у чужой звезды. Вниз пошли челноки: три тяжёлых атмосферных транспорта под прикрытием четвёрки истребителей.

Ведущей шла Крамер. Я летел на втором транспорте — вопреки уставу, вопреки протестам старпома и здравому смыслу, который весь этот протест поддерживал. Есть вещи, которые командир обязан увидеть собственными глазами, а не принять по докладу с экрана. Мёртвая Земля была из таких вещей. Двенадцать лет — и одну человеческую жизнь — я вёз эту планету в себе как надежду и должен был наконец встать на неё ногами.

Мы вошли в атмосферу над океаном, в сердце грозового фронта, прячась в электрическом хаосе от любых глаз, какие могли смотреть сверху. Транспорт швыряло, за иллюминаторами била лиловая молния, и Крамер по лучу пробормотала, что прятаться от инопланетного сторожа в грозе — это либо гениально, либо идиотизм, и она пока не решила, что именно. Потом облака расступились, и под нами легла Европа.

Такой я помнил её с орбитальных экскурсий детства: гирлянды городов от моря до моря, ленты дорог, реки, забранные в набережные, ночью — сплошное золотое свечение, будто кто-то опрокинул на континент шкатулку с искрами.

Теперь под нами тянулась серо-бурая земля, изрытая правильными, до тошноты аккуратными цепочками оплавленных кратеров. Города были на месте — и это оказалось хуже, чем если бы их не было. Мы снижались. Стёкла миллионов окон лежали крошевом на улицах. Нигде не горело ни одного огня. Не разрушены — выпотрошены. Я вспомнил слова Крамер про «Вегу»: не пробили, а выкрутили изнутри. С городами было так же. Удары ложились с хирургической точностью: по электростанциям, по узлам связи, по заводам, по всему, что излучает, движется и производит. А кварталы, где люди просто жили, спали, любили, растили детей, — эти кварталы стояли почти целые и совершенно мёртвые.

Над одним городом Крамер запросила круг, и я разрешил, хотя не должен был. Мы прошли над ним низко, на высоте старых пассажирских эшелонов, и я жалею, что разрешил, и до сих пор считаю, что был обязан.

Город был цел процентов на восемьдесят. Стояли дома, стояли деревья вдоль улиц — мёртвые, но стоячие; стояли на стоянках машины, ровными рядами, как их поставили в последний рабочий день. Мостовые были чистые: семь лет ветра и дождя вымыли улицы. И только на выезде, на широком шоссе, уходящем в сторону гор, стояла очередь.

Она начиналась у городской черты и не кончалась. Машины, автобусы, грузовики — сначала в четыре ряда, потом в шесть, потом поперёк разделительной, потом вдоль обочин, по полям, и так до горизонта и за горизонт. Ни одна из них не двигалась семь лет. Топливо кончилось у всех примерно в одном и том же месте, и там очередь превращалась в свалку, а дальше по обочине шли уже не машины, а вещи: чемоданы, коляски, тюки, брошенные тем аккуратным способом, каким люди бросают не сразу, а по одной, через каждые полкилометра, пока не остаётся то, что несёшь на себе.

— Они шли пешком, — сказала Крамер. — Все. Вот отсюда и дальше — все шли пешком.

На плоской крыше городской больницы кто-то выложил буквы. Простынями, придавленными кирпичами, каждая буква метров десять. За семь лет ткань выгорела до цвета пыли, но выложено было крепко, на совесть, и читалось до сих пор:

МЫ ЗДЕСЬ

Больница под этой надписью была пуста. Дверь приёмного покоя стояла настежь, и в проёме намело земли.

Я велел прекратить круг и идти по маршруту. Двенадцать лет я летел домой с мыслью, что везу этой планете спасение, и мне не приходило в голову, что кто-то будет писать мне «мы здесь» на крыше и что я опоздаю ровно на столько, чтобы прочесть.

Координаты из передачи буя привели нас в предгорья, к чёрному жерлу старого транспортного тоннеля, за которым дозиметры и тепловизоры честно не видели ничего, кроме скалы, — и это «ничего» выглядело слишком ровным, чтобы быть настоящим. Мы сели в километре, на растрескавшееся дно давно высохшего водохранилища.

Механик отжал створку. Я снял шлем вопреки всем инструкциям и впервые за двенадцать лет — и за один бесконечный полёт длиной в девять часов и одиннадцать лет разом — вдохнул воздух Земли.

Он был холодный, разреженный, пах полынью, мокрым камнем и застарелой гарью. Он был отравлен, и медики потом сутки гоняли меня через дезактивацию. И всё равно это был лучший воздух, каким я дышал в жизни.

Сорок минут мы стояли на дне водохранилища и ждали.

Это было хуже всего, что я пережил за весь перелёт, включая прерванный прыжок. Мы прилетели с неба. Семь лет всё, что приходило к этим людям с неба, приходило убивать. Крамер держала истребители на холостом и просила разрешения развернуть машины стволами к тоннелю. Я запретил и приказал открыть все аппарели, отойти от оружия на десять шагов и встать так, чтобы нас было видно и пересчитать.

— Товарищ капитан, — сказала Крамер сквозь зубы, — если они ошибутся, ошибка будет последняя.

— Если они ошибутся, значит, ошибся я, — сказал я. — Стойте на месте, старший помощник.

На двадцать второй минуте из чёрного жерла тоннеля ударил свет.

Не выстрел, не прожектор — короткая, быстрая россыпь вспышек, солнечный зайчик, пущенный с руки зеркалом. Кто-то в темноте под скалой ловил в осколок стекла низкое солнце и бил им по нашим бортам, отсчитывая паузы. Много лет спустя я вспоминал это чаще, чем полагается вспоминать техническую мелочь: первое, что человечество сказало вернувшемуся кораблю, оно сказало не голосом и не в эфир. Оно сказало зеркалом, потому что за семь лет выучило, что говорить голосом — умирать.

Крамер читала вслух, по буквам, и голос у неё садился:

— «Кто. Вы». Это старый опознавательный, довоенный, планетарной обороны, тридцать шестая серия. Капитан, они спрашивают нас кодом, который вышел из обращения, когда я была лейтенантом.

Мы ответили тем же способом — прожектором посадочных огней, вручную, с крыла второго транспорта, потому что ни один автомат на борту не умел говорить так медленно.

Они вышли из-под скалы ещё через восемнадцать минут — ровно столько им понадобилось, чтобы поверить нашим довоенным опознавательным кодам. Два десятка людей в комбинезонах химзащиты, латаных и много раз чиненных, с оружием, собранным, судя по виду, из трёх разных эпох сразу. Двигались они не как гражданские и не как солдаты регулярной армии — как люди, которые семь лет выживают и научились не тратить ни одного лишнего движения.

Впереди шла невысокая, сухая, седая женщина с полковничьими нашивками, споротыми с одного мундира и грубо пришитыми к другому.

Она остановилась в пяти шагах, всмотрелась в меня сквозь мутный, поцарапанный визор — и вдруг засмеялась и заплакала одновременно. Люди за её спиной не шевельнулись.

— «Никола?» — спросила она. — Двенадцать лет. Где тебя носило, чёрный драный кот?

Меня зовут Николас Лакидис, и на всей Земле было ровно два человека, знавших, откуда взялось это дурацкое прозвище. Одного из них, Петра, я похоронил в мыслях много лет назад.

Вторая стояла передо мной, постаревшая на двенадцать лет и на одну войну, и держала автомат так же привычно, как когда-то держала мою руку, переводя младшего брата через двор.

Нас повели под скалу. По дороге, у самого входа, где кончался дневной свет и начинались лампы, нас остановила пожилая женщина в чистом, аккуратно заштопанном ватнике, с ученической тетрадью в руках и карандашом, привязанным к ней бечёвкой.

— Простите, — сказала она мне так, будто мы стояли в очереди в собес, а не в горле бомбоубежища на мёртвой планете. — Ваше имя, звание и с какого борта.

Я назвался. Она записала, попросила повторить фамилию по буквам и записала ещё раз, на другой странице.

— Дора Кемп, делопроизводитель, — сказала она, не поднимая головы. — Я записываю всех, кто входит и выходит. Семь лет. Если вы завтра уйдёте наверх и не вернётесь, в этой тетради останется, что вы были.

— Полковник в курсе? — спросил я.

— Полковник разрешила, — сказала Элена сзади. Дора Кемп записала и это.

Позже я узнал, что тетрадей у Доры Кемп восемнадцать штук и что она вписывала в них не только приходящих: каждого, кто рождался, умирал, уходил за водой, не возвращался. И что просить об этом её никто не просил.

Мы спускались долго. Сначала транспортный тоннель, широкий, с рельсами, забранными деревянными настилами; потом три лестничных марша, потом наклонная шахта, где лифт не работал уже пятый год и ступени были выщерблены до блеска. Триста метров вниз — это девять минут ходьбы, если идти, как ходят там: не спеша, ровно, экономя воздух и колени.

Я запомнил не темноту. Темноты как раз не было: горели лампы, редкие, тусклые, но горели. Запомнил запах — сырой камень, хлорка, варёная крупа, машинное масло и поверх всего слабый, ни на что не похожий дух живой зелени из гидропоники, который на глубине трёхсот метров бьёт по нервам сильнее всякого нашатыря.

И я запомнил звук. Точнее, его отсутствие. Девятнадцать тысяч человек в бетонных коридорах разговаривали вполголоса — не по приказу, не потому, что боялись: просто за семь лет отвыкли. Я шёл вниз мимо людей, которые смотрели на нас во все глаза и шептались, и узнавал собственный корабль.

Элена — полковник Элена Лакидис, командир объединённого узла «Бункер-семь», старше меня на четыре года, — рассказывала до глубокой ночи. Первое, что я спросил, было не про войну. Про племянницу. Элена мотнула головой вглубь тоннеля: жива, внизу, спит после смены — тринадцать лет, растит салат под лампами гидропоники, дядю не помнит вовсе, а небо помнит так, как его помнят в шесть лет: что оно было и что оно было большое. Больше про семью я в ту ночь не спрашивал: по тому, что сестра сказала об одной только племяннице, я понял всё, о чём не спросил.

Мы сидели в командном отсеке, вырубленном в скале на глубине трёхсот метров, в бывшем комплексе стратегических сил. Его строили ещё для войн, которых, к счастью, не случилось, а он приютил последних. Под нами, в бесконечных бетонных коридорах, жили девятнадцать тысяч человек. По всей планете таких узлов, с которыми у Элены была связь — курьерами, эстафетой, по проводам, протянутым вручную, как сто лет назад, — оставалось около сорока. Меньше двух миллионов человек. Всё, что уцелело от одиннадцати миллиардов.

— Меньше двух миллионов, — повторил я. Цифра не укладывалась в голове; я искал в ней хоть что-нибудь, за что можно ухватиться, и не находил.

— Меньше двух миллионов, о которых я знаю, — поправила Элена, и что-то в этом уточнении заставило меня поднять голову. — Пойми, Никола: мы считаем только тех, до кого дотянулись. Курьером, проводом, кострами на условленных вершинах. А весь наш способ выжить — не светиться. Заглуши всё, уйди под землю, не издай ни звука — и живи. Те, кто сделал это лучше нас, кто ушёл в молчание совсем и потерял с нами связь, — они для меня не мертвы.

Они просто не сосчитаны. Я не знаю, сколько нас на самом деле. Может, два миллиона. Может, двадцать. Может, где-то в старых шахтах, в горах, на островах сидят в темноте сотни миллионов — и каждый думает, что он последний, ровно как весь первый год думала я. Молчание спасло нас поодиночке и разлучило всех.

Она помолчала, и голос её стал тише.

— И вот чего я не пишу в сводках, а скажу тебе как брату. Прятаться умеет тот, кого ищут: замолчи — и глаз пройдёт мимо; мы семь лет уходили от этого глаза и научились лучше всех живых. Прятаться мы научились. Больше — ничему. Мы не при смерти, Никола. Мы себя не слышим.

Я слушал её и видел войлок на ручках ключей в мастерских Крамер. Ланге сказал мне то же самое пятью неделями раньше, только цифрами и без единого лишнего слова: что молчание не бесплатно и что через два месяца люди перестанут думать вслух, а ещё через два — при других. Он сказал это про пятнадцать тысяч человек и про два месяца. Сестра говорила про два миллиона и про семь лет. Я сидел в трёхстах метрах под землёй и думал, что мой главный инженер, никогда не бывавший на войне, посчитал её точнее меня — а моя сестра прожила её и пришла к тому же ответу с другого конца.

— Они пришли двенадцатого августа шестнадцатого года. Никаких требований. Никаких переговоров. Никакого ультиматума, который можно было бы отклонить или принять. Флот погиб до заката — весь, в один день. Потом трое суток они выжигали орбиты, методично, по сетке. Потом месяц — поверхность. Знаешь, что было страшнее всего, Никола? Не то, что они пришли. А то, что они не злились. Они не мстили и не завоёвывали. Они пропалывали грядку. Аккуратно, начисто, без единого лишнего удара.

— Кто они? Вы видели их? Хоть кого-то, хоть раз?

— Никто не видел их. Никто на всей планете за семь лет не увидел ни одного живого существа. Мы видели только машины — эти их иглы, семена, веретёна. Ни одного сигнала, который можно было бы назвать речью, ни одной попытки говорить. Пленных они не берут. С пленными не разговаривают. Пленных для них не существует.

Она помолчала, крутя в пальцах пустую гильзу, которую, я потом заметил, она носила, как другие носят чётки.

— А потом они ушли. Почти все, в один месяц. Оставили двух сторожей — одного у Луны, одного, как мы поняли позже, у Юпитера, — и ушли. И вот что я скажу тебе как командир командиру, брат: они ушли не потому, что мы им надоели, и не потому, что мы победили. Мы не сделали по ним ни одного результативного выстрела за всю войну. Они ушли, потому что закончили. Как ремонтная бригада, которая сдала объект и переехала на следующий.

Ремонтная бригада. Я пропустил эти слова мимо ушей и отнёс к горькой иронии измученного человека.

Слушая её, я знал, что обязан сказать в ответ. Что где-то там, у Центавра, мы сложили другую картину. Про колокол. Про то, что первый, самый громкий удар в этот колокол, возможно, нанесли мы сами — своим прыжком, в тот самый день, когда вся Земля высыпала на причалы и махала нам вслед. Рассказал. Мне было физически трудно выговаривать это в лицо женщине, которая семь лет хоронила то, что мы, может быть, начали.

Она выслушала молча, до конца. Потом медленно покачала головой.

— Асгейрссон твой ошибается. И ты ошибаешься. Вы не были первыми.

Она встала, подошла к сейфу, старому, механическому, с наборным диском.

— За три года до вашего старта служба разведки уже гоняла в подпространстве беспилотные прототипы. Маленькие. На секунды. Это было секретно даже для проекта «Галактика» — даже конструкторы «Сириуса» не всё знали про двигатель, который ставили на свой корабль.

Она усмехнулась, глядя на моё лицо.

— Я полковник планетарной обороны, Никола. Я читала документы, которых тебе не показывали и не покажут уже никогда, потому что и Службы той больше нет, и людей, её боявшихся. Колокол звонил задолго до вас. Вы просто ударили в него громче всех — и, в отличие от остальных, успели уйти от ответа. Не казни себя за то, что был первым. Ты был не первым. Ты был «громким».

Не знаю, что я почувствовал острее в ту минуту — облегчение или новую, другую тяжесть. Вина не исчезла. Она просто перестала быть только нашей — и от этого, странным образом, стало только сложнее: у беды, у которой один виновник, есть хотя бы простота. У нашей беды простоты не было.

Элена достала из сейфа плоский металлический пенал, потемневший от времени.

Она положила пенал мне в ладонь. Он был лёгкий и холодный. На крышке чем-то острым были выцарапаны корявые буквы — почерк я узнал сразу: «Николе. Открыть, когда поймёшь, что домой вернуться нельзя».

— Ты откроешь? — тихо спросила сестра.

Я держал пенал в руке, сидя в трёхстах метрах под поверхностью планеты, в которую вернулся через двенадцать лет, чтобы найти её мёртвой. «Открыть, когда поймёшь, что домой вернуться нельзя». Но я вернулся.

— Ещё не время, — сказал я и убрал пенал в карман.

Элена посмотрела долгим взглядом старшей сестры, которая всегда видела меня насквозь, и ничего не сказала.

Уже под утро, когда мы оба перестали делать вид, что не спим, она сказала:

— Пойдём. Только тихо.

Мы спустились ещё на два яруса, в жилой сектор, где коридор был разгорожен на отсеки одеялами на проволоке. В четвёртом отсеке, на нижней койке, спал ребёнок — подросток, если считать честно, потому что тринадцать лет — это уже не ребёнок нигде, а под землёй тем более. Худая, стриженная почти наголо: воду в бункере считали. Спала она на спине, вытянув руки поверх одеяла, — так спят те, кто встаёт по будильнику и привык, чтобы будили быстро.

Над койкой висела фотография с орбитального причала, приколотая к бетону двумя проволочками: Элена в парадном мундире, я в кителе с ещё не обмятым воротом и двухлетняя девочка у неё на плече, тянущаяся рукой куда-то за кадр.

— Она знает про тебя всё, чего не помнит, — сказала Элена очень тихо. — Я рассказывала каждый год. Первые годы — что ты прилетишь. Потом перестала обещать и стала просто рассказывать.

— Разбудим?

Сестра посмотрела на меня.

— Разбудишь — и что скажешь? У неё смена в шесть. Скажешь «здравствуй, я твой дядя» — она обрадуется. А потом ты уйдёшь наверх, и она будет ждать. Она уже семь лет что-нибудь ждёт, Никола. Дай ей доспать, а обещать будешь, когда сможешь выполнить.

Мою племянницу зовут Ксения. Я стоял в дверном проёме и смотрел на неё, наверное, минут семь, и не сказал ей ни слова.

Разговаривать мы начали через девятнадцать суток, уже на борту, и первое, что она у меня спросила, было не про звёзды и не про корабль, а сколько на «Сириусе» градусов и можно ли будет спать без шапки.

На обратном пути, в коридоре, где нас никто не слышал, Элена сказала:

— Про маму ты не спросил.

— Я понял ночью.

— Ты понял неправильно, — сказала она. — Она умерла не от них. Второй год, почки. Лекарство было — в городе, в аптеке, целой, с целыми стёклами, три километра по прямой. Наверх ходить было нельзя: ходили только партиями и только по темноте, и в тот месяц две

партии не вернулись. Я послала третью. Они дошли, взяли не то, вернулись через сутки, и было поздно на девять часов.

Она остановилась и посмотрела на меня в упор, снизу вверх, как в детстве, когда решала, врать мне или нет.

— Сама я не пошла. У меня было девятнадцать тысяч человек, и я не имела права уйти за одной. Никола, скажи, что я правильно сделала.

Я знал, что нельзя отвечать. Я знал, что на такие вопросы отвечает только тот, кто там не был, и что моя сестра просит не оценки, а разрешения жить дальше, и что дать его я не могу, потому что это не моё.

— Правильно, — сказал я.

Это было первое слово, которое я сказал на Земле, не имея на него никакого права. Не последнее. Их набралось за следующие два года достаточно. Я до сих пор помню каждое. И то, что в тот раз я, вероятно, не соврал, я помню тоже — отдельно.

Глава 7. Шесть часов

Дальше — не мой рассказ. Дальше идёт ночь, которой я не видел: я был в девяти часах и одиннадцати годах отсюда, я в это время шёл сквозь «молоко» к чужим звёздам.

Я записал это со слов сестры и из её журнала, который она отдала мне позже, — записал её словами, потому что иначе о таком рассказать нельзя. Пусть говорит она.

*

Утро двенадцатого августа было обыкновенным. Я это помню отчётливее всего — какое оно было обыкновенное. Потом, годами, я перебирала это утро по минутам, как перебирают вещи погибшего, и не нашла в нём ничего. Ни знака, ни тени.

Я сидела на командном пункте орбитальной обороны Северного сектора, пила скверный кофе и подписывала наряды на плановое обслуживание спутников. Помню сами наряды: замена блока на платформе «Бастион-три» и фамилия старшего, которую я, подписывая, даже не прочла.

Дежурство ползло к обеду. Лейтенант Рихард Озолс, оператор дальнего обнаружения, зевал над консолью и вполголоса препирался со сменным инженером о рыбалке: у Озолса через девять дней начинался отпуск, первый за два года, и он уже неделю всем рассказывал про озеро, дом тестя и лодку. Я запомнила про лодку. Странно, что помнит память: из всего последнего утра человечества мне досталась чужая лодка, на которой никто так и не поплыл.

Смену я знала наизусть — четвёртый год одни и те же лица через двое суток на третьи. Дежурным офицером стоял майор Ваалер, человек из тех, кого в академии называют исправными и с кем потом всю жизнь хорошо служить: он не блистал, он просто ни разу за четыре года ничего не забыл. У него под стеклом на пульте лежала таблица нормативов с обтрёпанными углами, хотя он знал её лучше меня.

Сменным инженером был Мадсен — тот самый, с кем препирался Озолс. «Оззи, там нечего ловить», — говорил он, не отрываясь от щитка. Прозвище приклеилось к лейтенанту задолго до меня, и на командном пункте его звали так все, кроме меня одной. Устав этого не запрещал. Просто я так и не научилась.

Связь вела младший сержант Лунде, девочка двадцати одного года, с почерком таким ровным, что я иногда давала ей переписывать бумаги для штаба сектора. В то утро она принесла на смену сливы — полный пакет, из сада матери, — и обошла с ним весь ярус, и я взяла две — отказаться было бы обидно.

Я пишу это подробно нарочно. Все, кто потом читал мои журналы, искали в двенадцатом августа знаки, а находили сливы. Пусть будет записано: до четырнадцати ноль семи это был обыкновенный служебный день с обыкновенными людьми, и никто из нас не был к нему готов, потому что готовятся к войне, а не к этому.

На больших экранах Земля висела мирная, синяя, вся в белых завитках облаков, вся в золотых точках городов на ночной половине. Одиннадцать миллиардов человек занимались своими делами и не знали, что жить им осталось до заката.

В четырнадцать ноль семь всемирного времени сеть дальнего обнаружения дала множественные подпространственные выходы в районе орбиты Юпитера.

Я услышала это раньше, чем увидела, — по голосу. Озолс сказал: «Товарищ полковник...» — и не договорил. Я двадцать пять лет слушала доклады операторов и по первым двум словам умею отличить сбой от беды. Это был не сбой.

Я подошла к его консоли. Экран, который всю мою службу был самым скучным экраном сектора — на нём месяцами не было ничего, кроме наших бортов, расписанных заранее, — высыпал разом столько отметок, что счётчик в углу мигал, пересчитывая.

Множественные — это было первое неправильное слово в тот день. У нас не было такого понятия. Из подпространства выходили наши корабли, поодиночке, по расписанию, с уведомлением. А тут отметки шли десятками, и они не запрашивали коридор, не отвечали на опознавание, не делали ничего из того, что делает корабль. Они просто были — и шли к Земле.

— Запроси повтор по резервной цепи, — сказала я. Я услышала свой голос со стороны — служебный, спокойный, чужой.

Резервная цепь дала то же самое. Тогда Ваалер объявил тревогу, и по всем ярусам командного пункта побежал отвратительно будничный звонок, который я до того слышала только на учениях. Я помню, как подумала: учения. Кто-то напутал с вводными, штаб проверяет сектор без предупреждения, к вечеру будем писать объяснительные. Я успела подумать это дважды — второй раз уже насильно, уже понимая, что неправда, — прежде чем в четырнадцать тридцать одну началось то, для чего у меня до сих пор нет точного слова.

Начали отказывать системы.

Не от удара — просто отказывать. Никто по нам не стрелял. Ни вспышек, ни попаданий, ни следов перехвата — ничего из того, чему нас учили и к чему мы стояли готовыми. Сначала связь с орбитальными платформами. «Бастион-один» замолчал на полуслове штатной телеметрии. А «Бастион-три» — тот, куда я утром подписала бригаду из шести человек, — ответил.

Это единственная платформа, которая в тот час успела с нами поговорить, и потому я помню разговор дословно: он записан у меня в журнале слово в слово, я переписывала его набело трижды за семь лет, будто от переписывания в нём могло что-нибудь измениться.

Голос был мужской, немолодой, привыкший говорить в гарнитуру в шумном отсеке. Он представился по форме — станция, должность, фамилия, — и фамилию эту я в то утро уже видела: я подписала её четырьмя часами раньше, не прочитав. Инженер второй категории Тамм, старший бригады из шести человек, поднявшейся на «Бастион-три» менять блок ориентации.

Докладывал он об аварии, а не о нападении. Скачок в цепях. Второй, сильнее. Автоматика сбросила нагрузку, потом сбросила ещё раз, потом перестала сбрасывать. Он сказал: «У нас греется всё, что под током. Не в одном месте — везде сразу. Так не бывает, товарищ полковник». Я спросила про внешнее воздействие. Он ответил: «Никакого. Небо чистое, я в иллюминатор смотрю — там ничего нет». За его спиной кто-то называл цифры, цифры были нехорошие, он повторял их мне, и с каждым разом голос садился на полтона.

А потом он задал вопрос, ради которого я всё это и пишу.

Он спросил: «Товарищ полковник, разрешите обесточить станцию полностью. Уйдём в переходный отсек, переждём на аккумуляторах. Телеметрию потеряете».

Я запретила.

Пусть это стоит здесь без смягчений: я запретила. Я приказала ему держать телеметрию. У меня в ту минуту гасли платформы по всему сектору, я не понимала ничего и цеплялась за единственное, что оставалось, — за приборы. Мне нужны были его показания. Я сказала: «Тамм, вы мой последний глаз в верхнем поясе. Держите телеметрию, сколько сможете, потом уходите». Он ответил: «Есть держать телеметрию». Без паузы. Ни секунды паузы — вот что я вспоминаю чаще всего.

Он держал её одиннадцать минут. Всё это время он говорил — ровно, по форме, как дежурный на плановом обслуживании, а не человек в коробке, которая горит изнутри: температуры, токи, отказ первого контура, отказ второго, «плавится жгут в третьем коридоре, идём в переходный», «переходный не открывается, замок под током». Один раз оборвал доклад и сказал не по форме: «Тут ребята интересуются, что вообще происходит». Я ответила правду — что не знаю. Он сказал: «Понял» — и вернулся к цифрам.

Последним от него пришло не слово. Пришёл щелчок разомкнувшегося канала и шум.

Запрета я не сняла. Не успела — но это ничего не меняет, потому что и не собиралась. Мне понадобилось ещё пять часов, чтобы попросить у себя того же самого, что он просил у меня. Ковач додумался позже нас обоих.

Их было шестеро. Имён остальных пяти я не знаю.

Потом начали гаснуть энергосети на поверхности. На служебной карте энергорайоны чернели по одному, и я поймала себя на том, что жду следующий.

Потом спутники. Двести лет человеческой техники на орбите — связь, навигация, метеорология, мёртвые телескопы, музейный хлам, работавший со времён моей прабабушки, — всё это вспыхнуло и посыпалось за один час, как мошкара, залетевшая в костёр.

Операторы вызывали платформы по именам. Это самое страшное, что я слышала в тот день, — не взрывы; взрывов не было. Молодые ровные голоса, по уставу: «Бастион-пять», ответьте дежурному. «Бастион-пять», проверка связи. Ответа не было. Потом следующий: «Купол-два», ответьте дежурному. Тишина. Экраны связи гасли по одному, и на каждом, прежде чем погаснуть, застывал последний кадр — и ни на одном последнем кадре не было боя. Чашка в держателе. Чей-то список на переборке.

На командном пункте у меня под рукой были три эскадрильи перехватчиков и вся орбитальная артиллерия Северного сектора, и я не могла сделать ничего. Бить было не по кому. Враг не выходил на дистанцию боя. Враг вообще, кажется, не воевал. Он просто шёл сквозь нашу оборону, как рука проходит сквозь паутину, и всё, к чему он приближался, что светилось, гудело, излучало, — умирало само.

Три эскадрильи стояли в готовности номер один с четырнадцати сорока. Командир авиаполка — подполковник, фамилию которого я называть не стану, потому что он мёртв, а я скажу о нём сейчас нехорошее и хорошее вперемешку, — запрашивал вылет каждые десять минут. По всем наставлениям прав был он: противник в зоне ответственности, средства есть, приказа нет.

Я держала их на земле. Понимать было нечего, а посылать — некуда. Наводки не было. Цели не было. Была россыпь отметок в трёх астрономических единицах отсюда и мёртвые платформы над головой.

В пятнадцать двадцать два звено из четырёх машин ушло без приказа.

Кто это решил — командир звена или командир полка, — я не знаю до сих пор: разбираться было некогда, а после стало не с кем. Они взлетели, набрали высоту, включили бортовые локаторы, чтобы хоть что-нибудь увидеть в собственном небе, и передали: «Небо чистое, идём дальше». Через две минуты ведущий доложил отказ. Через четыре в эфире не осталось ни одного из четырёх.

По громкой я объявила: всем — готовность номер три, машины обесточить, локаторы не включать. Не потому, что поняла. Просто у меня в тот час работала одна-единственная мысль: всё, что мы делаем, кончается одинаково, — значит, надо перестать делать.

Подполковник пришёл на КП сам, без вызова, минут через двадцать. Он не оправдывался и не просил. Он сказал: «Товарищ полковник, у меня остались люди и машины. Дайте мне цель». Я сказала, что цели нет. Он постоял, кивнул и ушёл к своим самолётам, которые больше никогда не взлетели.

Он умер через два года в узле «Ботн», от воспаления лёгких, и мне передали, что перед смертью он просил сказать, что был не прав. Я не считаю, что он был не прав. Я считаю, что мы оба были правы по своим наставлениям и что наставления в тот день кончились раньше, чем люди.

Флот попытался. Господи, как флот пытался.

Адмирал Ковач вывел Первую ударную на перехват — сто двенадцать вымпелов, лучшее, что было у человечества. Я знала Ковача. Он принимал у меня выпускной экзамен по тактике, тридцать лет назад, и завалил меня на первом же вопросе, а потом поставил высший балл —

за то, что, провалив план, я не стала его спасать, а сразу построила новый. Он был из тех командиров, что не повышают голоса вообще: чем хуже дела, тем тише он говорил.

В тот день весь сектор слушал его переговоры в прямом эфире, потому что скрывать что-либо от кого-либо уже не имело смысла, — и по тому, как тихо он говорил к вечеру, я понимала больше, чем по всем докладам.

Они вышли на дистанцию залпа и не смогли прицелиться. Я слышала доклады наводчиков — сначала недоумённые, потом злые, потом испуганные: наводка показывала цель в одном месте, а цель оказывалась в другом. Не уклонялась — оказывалась. Будто предвидела каждый наш выстрел за миг до того, как мы решали выстрелить.

Офицер наведения флагмана — женский голос, молодой, я его до сих пор слышу — повторяла одно и то же, всё быстрее: «Решение не сходится. Решение не сходится».

Потом Ковач сказал: «Всем бортам. Залп по счислению, полным бортом, без наведения». Они дали залп вслепую, всем флотом. Сто двенадцать кораблей выстрелили в никуда, по площади, как стреляли двести лет назад по невидимой подлодке. Я не знаю, попали ли они хоть раз.

А потом Первая ударная начала умирать — так же, как платформы: перегрузка, пожар в цепях, корабли, гаснущие один за другим. Без единой пробоины. Позывные выпадали из эфира, как выпадают из строя солдаты на жаре: «Резвый» не отвечает. «Керчь» не отвечает.

Флагман держался дольше всех, и Ковач говорил до конца — уже не командами — командовать было некем, — а как говорит человек, который понял и торопится передать понятое через собственную смерть. Последнее, что он передал, было не про врага: «Не стреляйте. Оно приходит на выстрел. Передайте всем — не стре...»

И всё. От залпа до конца Первой ударной прошло сорок минут.

Это и был последний приказ флота. Шесть часов — от первого сигнала тревоги до этих слов. Флот, который человечество строило полтора века, уложился в одну смену дежурства. К закату — я помню этот закат, багровый, совершенно обычный августовский закат над северными холмами, — орбитального флота не существовало. Одиннадцать миллиардов человек остались под открытым небом без единого корабля над головой.

Я сделала тогда одну вещь — единственное за всю войну, чем горжусь, хотя гордиться нечем: мне повезло понять на час раньше других. «Оно приходит на выстрел». Платформы с маяками. Спутники с передатчиками. Корабли, открывшие огонь.

И я отдала приказ, который сначала сочли безумным, а потом — единственным, что нас спасло. Я приказала своему узлу выключить всё. Не приглушить — выключить. Заглушить передатчики, обесточить внешние антенны, увести энергетику под землю и экранировать, погасить любой прибор, чей сигнал мог выйти за пределы скалы.

Ваалер выполнил приказ не сразу. Я его не виню — я бы на его месте тоже переспросила. Он стоял передо мной, тот самый исправный человек, который за четыре года ни разу ничего не забыл, и говорил то, что обязан был говорить: устав боевого дежурства, непрерывность наблюдения, без санкции штаба сектора он не имеет права ослепить узел в военное время.

Всё правильно говорил. По каждому наставлению, по которому жила и я тридцать лет, прав был он, а не я. Я сказала: «Штаба сектора больше нет. Санкции просить не у кого. Выполняйте, ответственность на мне» — и сама, первой, вытащила ключ из своего пульта. Через одиннадцать минут «Бункер-семь» онемел и ослеп добровольно. Мы превратились в мёртвый камень посреди убитой планеты.

После этого Ваалер двое суток не разговаривал ни с кем, кроме как по службе. На третьи пришёл и попросил записать в журнал, что приказ он исполнил с задержкой в четыре минуты по своей вине. Задержки не было — я считала сама. Я записала. Ему нужно было, чтобы где-то стояло, что он сомневался. Это единственный человек за всю войну, который попросил у меня взыскания и получил его.

Потом я вызвала по проводной линии — провод, старая медь в скале, единственное, что не кричит в небо, — батарею мыса Норд. Командовал ею полковник Хёугланд; мы были однокурсниками, он женился на моей соседке по казарме, я крестила обоих его сыновей.

Я сказала ему всё, что поняла: гаснет то, что излучает; выключайся, Стейн, глуши радары, зарывайся и молчи. Он выслушал — связь была скверная, но выслушал до конца, он всегда дослушивал до конца — и ответил, что не может. Что у него боевое дежурство и целеуказание для всего побережья, что, если он ослепнет, сектор останется без глаз, и что устав в военное время он нарушать не будет. «Кто-то же должен смотреть, Элена, — сказал он. — Если все зажмурятся, кто увидит, куда бить?» Я не нашла что ответить. Возразить я могла только тем, чему у нас с ним не было названия.

Батарея мыса Норд продолжала честно нести боевое дежурство с включёнными радарами. К полуночи она перестала отвечать и по проводу. Разведгруппа, дошедшая туда через месяц, нашла позиции целыми: ни воронки, ни следа боя, орудия в смазке, боезапас полон. Только вся электроника выгорела изнутри — и все, кто был в тот час у экранов, остались у экранов.

Служебные книжки разведгруппа принесла мне все до одной — восемьдесят четыре штуки в двух вещмешках. Так тогда делали: тел не выносили, выносили книжки — книжка легче человека, а список нужен живым.

Среди них была книжка лейтенанта Сигурда Хёугланда, пост управления огнём.

Я крестила его двадцать шесть лет назад, старшего из двоих. Я не знала, что он служит у отца, — вернее, знала когда-то и забыла, потому что такое держишь в голове до тех пор, пока оно не важно. Пока я по проводу уговаривала Стейна выключиться, сын сидел в двадцати метрах от него, за экраном поста управления огнём, а я говорила с отцом об уставе боевого дежурства и ни разу не спросила о сыне.

Потом я думала, изменило бы это что-нибудь. Честный ответ — нет. Стейн не выключился бы и ради сына; он был не тот человек, чтобы менять решение по такой причине, и, попробуй я на этом сыграть, он бы мне не простил, и был бы прав.

Но я всё равно не спросила. Это второе, чего я себе за тот день не простила, и по счёту оно идёт сразу за Таммом. Оба раза передо мной был человек, а я смотрела в бумагу и в экран.

Полковник Ито из «Урала» сделал то же самое, что я, на два часа позже — и тоже уцелел. Мы узнали друг о друге лишь к исходу первого года, а когда узнали, первым делом сверили журналы: из старших офицеров сектора в живых остались двое — и оба ослушники. Я тридцать лет прослужила по наставлениям, где отход с позиции без приказа — трибунал, а молчание под ударом — малодушие.

Остаток ночи мы просидели внизу, при аварийном свете, все, кто там был, дыша по очереди. Работал единственный экранированный приёмник — пассивный, глухая антенна в скальной щели. Я не выключила его. Это была моя слабость, и я себе её разрешила: кто-то должен был слышать, как умирает мир, иначе выходило, что он умер один.

Земля гасла в эфире всю ночь. Сначала пропали военные сети — эти умерли быстро, потому что дисциплинированно выходили на связь. Потом гражданские каналы, диспетчерские, порты. Города держались дольше всех.

Какая-то станция на юге — музыкальная, автоматическая, ей никто не сказал, что конец света, — до трёх часов ночи играла старые песни в пустой эфир, и мы сидели в скале и слушали, потому что больше в эфире не было ничего. В три часа семь минут она замолчала на середине такта. Не знаю, что её убило — веретено или просто села подстанция. Я почему-то надеюсь, что подстанция.

Ночью, чтобы занять руки, я разобрала сумку с дневными бумагами — девать их было некуда: штаба сектора, куда они шли, больше не существовало. Там лежали утренние наряды. Я нашла тот, на «Бастион-три», и прочла его до конца.

Наряд сорок один — ноль восемь дробь семнадцать. Замена блока ориентации. Допуск бригаде из шести человек. Старший — инженер второй категории Э. Р. Тамм.

Под тремя сотнями метров камня выходило, что утром мне было лень дочитать наряд до подписи. Что значило «Э», я так и не узнала: спрашивать было не у кого, списки личного состава верхнего пояса хранили наверху, вместе с верхним поясом.

Наряд я держу до сих пор. Он лежит в сейфе третьим, и из трёх вещей, которые там хранятся, он единственный положен туда не как память, а как приговор.

Ещё в ту ночь я думала о брате, и это была единственная за сутки мысль, от которой мне стало легче.

Николас пропал четырьмя годами раньше вместе со своим кораблём, и все эти четыре года я жила так, как живут с этим все: не оплакав и не похоронив, потому что хоронить было нечего, а оплакивать значило признать. Я держала его в графе «пропал без вести» и в этой графе, если честно, держала и себя.

А в ту ночь я подумала: хорошо, что его нет.

Я знаю, как это звучит. Я записала это в журнал теми же словами и не стала вычёркивать. Мне было сорок девять лет, у меня за спиной сидели в темноте четыреста человек, а над головой стояла планета, с которой за шесть часов сняли всё, чем она была, — и мне стало легче от мысли, что мой младший брат до этого не дожил. Это не жестокость. Это счёт того утра: из всех, кого я в тот день могла потерять, он один был потерян заранее, и, значит, его у меня уже не отнимали.

Семь лет спустя выяснилось, что я ошибалась дважды и обе ошибки были в мою пользу. Так со мной за всю войну случилось один раз.

Под утро, когда эфир стал совсем пуст, я записала в журнал одно слово. «Вторжение». Другого у меня не было. Я была военным, я всю жизнь готовилась отражать нападение, и когда нападение пришло, я назвала его тем словом, которое знала.

Мне понадобились годы, чтобы понять, насколько это слово было неверным. Но тогда, в ту ночь, оно было единственным, что удерживало меня от того, чтобы сойти с ума. Потому что вторжение — это враг. А с врагом можно воевать. Можно ненавидеть, можно сопротивляться, можно проиграть с честью.

Глава 8. Осада

Семь лет — долгий срок, если считать его по дням, а не по календарю. Я считала по дням. Каждое утро, которое мы встречали живыми, я ставила в журнале черту, и эти черты — единственная летопись, которую вела последняя армия человечества.

Первый год я ещё воевала. Не потому, что верила в победу, — потому, что не умела иначе, и потому, что людям нужно было видеть, что кто-то сопротивляется. Мы пробовали всё. Мы стреляли по веретёнам из всего, что стреляло, — из уцелевших подземных шахт, из мобильных установок, которые вывозили ночью и прятали днём.

Это была особая война, такой ещё не бывало: расчёт выкатывался на позицию в радиомолчании, наводился по оптике, по старым таблицам, как артиллеристы прошлых веков, давал залп — и бежал, бросая установку, потому что жить рядом с выстрелившим орудием было нельзя.

Мы не сбили ни одного. Ни разу не попали. Позже, когда мы с Ито сверили журналы, он первым сказал вслух то, что я гнала от себя весь тот год: они не там, где их показывает наводка. Они предвидят выстрел раньше, чем ты решаешь выстрелить. Стрелять по ним — всё равно что бить кулаком по собственному отражению в воде: ты только выдаёшь себя и мутишь воду.

Весь первый год мы всерьёз думали, что под нашей скалой — всё, что осталось от человечества. Радио не существовало; искать друг друга можно было только так, как искали до радио, — ногами.

Мы отправляли разведгруппы по старым кабельным трассам, простукивали мёртвые магистрали связи, и на исходе первого года дежурный проводной линии, которую полвека числили оборванной, услышал в наушнике стук.

Морзянка, ключом, по голой меди: «Здесь Урал. Кто на линии. Здесь Урал. Кто на линии...»

Я сама спустилась к аппарату и отстучала ответ, и четыре часа, пока шёл сеанс, у люка аппаратной стояла очередь — людям не нужно было содержание переговоров, им нужно было смотреть на стучащий ключ. Мы были не одни.

Так началась сеть: медь, ключ, курьеры. Первый курьер с «Урала» добрался до нас через два месяца — прошёл пешком и на дрезинах тысячу восемьсот километров, неся в вощёной бумаге письмо Ито с выписками из его журналов, — и с тех пор дорога жила: письма шли месяцами, люди иногда не доходили, но узел за узлом сеть находила выживших, пока их не стало сорок.

Через девять дней после двенадцатого августа у лейтенанта Озолса начинался отпуск.

Я подписала ему отпускной билет. Штаба сектора не было, отдела кадров не было, страны, по которой он мог бы ехать, тоже, если разобраться, не было — а билет я подписала и вручила на построении, при всех.

Когда я прочла вслух «лейтенанту Рихарду Озолсу», кто-то сказал негромко: «Оззи», — и строй засмеялся. Первый смех за девять дней.

Ваалер посмотрел на меня так, будто я тронулась. Может, и тронулась. Но у меня под скалой сидело четыреста человек, разом потерявших весь мир, и им надо было увидеть, что хоть один порядок, заведённый до катастрофы, дошёл до конца.

Отпуск Озолс отгулял в бункере. Десять суток не заступал на дежурство, слонялся по ярусам, помогал на гидропонике, потому что не умел ничего не делать, и на девятый день пришёл проситься в смену досрочно. Я не разрешила — до конца так до конца.

Про лодку он больше не заговаривал, и никто из нас не спрашивал.

Прослужил он со мной все семь лет — оператором дальнего обнаружения на аппаратуре, которой запрещено было излучать, то есть слухачом при глухой антенне в скальной щели, и лучшего слухача у меня не было.

Из смены двенадцатого августа до прихода «Сириуса» дожили четверо: Озолс, Ваалер, Мадсен и я. Младший сержант Лунде — та, что принесла на смену сливы, — умерла на пятом году от аппендицита, под землёй, где оперировать было некому. Двадцать шесть лет. Из всей войны, из одиннадцати миллиардов мне почему-то тяжелее всего вспоминать именно это: что она пережила конец света и не пережила аппендикса.

Последней стреляла батарея Гималаев. Про неё я должна рассказать отдельно, потому что пустая гильза, которую я все эти годы держала в сейфе, — оттуда, и потому что приказ отдала я.

Батареей командовал майор Тензин. Я никогда не видела его в лицо и не слышала голоса: до его высокогорья дотягивалась только телеграфная медь, через три ретрансляционных колодца. Я знала его по руке на ключе — телеграфиста узнаёшь по почерку, как человека по походке, — и рука у него была спокойная, из тех, что старше своего хозяина.

Его позиция была лучшей из всего, что у нас осталось: старые высокогорные капониры, орудия на прямой оптике, выше половины атмосферы. И у него была цель.

Веретено — большое, из тех, что мы звали матками, — вторую неделю неподвижно висело над соседней долиной и делало то, что все они всегда делали: ничего, что мы умели понять. Дрожал воздух. Тензин две недели наблюдал его в оптику, рассчитал всё по старинке, без единого электронного прибора в контуре наводки, и запросил у меня разрешение на огонь.

Он отстукивал: товарищ полковник, оно неподвижно. Оно висит, как мишень на полигоне. Полный расчётный залп, шестнадцать стволов, накрытие с трёх направлений. Если по нему вообще можно попасть — попадём мы, и попадём сейчас.

Думала я сутки. Мне до сих пор снятся эти сутки. Всё, что мы знали к тому дню, я разложила на столе и перебрала руками: попаданий нет, стрелявшие гибнут, — но и цель никогда ещё не стояла так, и позиция никогда не была так хороша, и людям в узлах — голодным, замолчавшим, зарывшимся в землю, которых медь находила один за другим, — нужна была хоть одна победа. Хоть один сбитый. Хоть что-нибудь, что можно рассказать детям вместо сказки.

И я разрешила. Я, а не он. Это моя гильза.

Они сделали всё безупречно. Я стояла у аппарата и читала с ленты последний отсчёт и доклады: наводка выверена, поправки взяты, расчёты в укрытиях. Залп лёг точно — шестнадцать снарядов, накрытие, каким его рисуют в учебниках.

Но накрытие пришлось за хребет, и хребет закрыло пылью: оптика ослепла, а Тензину нужен был результат. И он включил радары контроля стрельбы. На тридцать секунд, как значилось у него в плане огня; я знала про эти тридцать секунд и утвердила их вместе со всем остальным.

А потом Тензин отстучал — той же ровной рукой, чуть медленнее обычного: «Цель не наблюдаю. Разрывы в расчётной точке. Цели в расчётной точке нет. Повторяю: цель не наблюдаю...» — и лента кончилась на середине слова.

Через минуту не стало батареи Гималаев. Не за выстрел — выстрел они, может быть, и пережили бы. За тридцать секунд радара, за желание увидеть, попали ли мы хоть раз. Двести человек расчёта, все, кто был на позиции, — без взрыва, без обвала, так же, как мыс Норд, как флот, как весь наш способ воевать.

Разведгруппа поднялась туда через полгода. Орудия стояли целые, задранные в пустое небо. В казённике первого осталась стреляная гильза. Больше человечество не стреляло ни разу. Её вынули. Курьер шёл полконтинента пешком, чтобы отдать мне этот кусок латуни.

Я положила её в сейф и в тот же день подписала приказ: огонь по противнику запретить. Всем узлам, всеми видами вооружения, во всех обстоятельствах. Совсем.

Это был самый тяжёлый мой приказ и самый правильный. По нему армия переставала быть армией. Семь лет я не знала, как это называется: мудрость или капитуляция. Слова «правильно» хватало не всегда.

Один раз мне пришлось этот приказ применить.

На втором году старшина Аро, начальник нижних мастерских, собрал в дальнем штреке пусковую установку. Своими руками, из хлама, за семь месяцев: направляющая от списанного комплекса, четыре ракеты, вынесенные по одной из затопленного арсенала, самодельный оптический прицел. Работал по ночам, после смены. Знали об этом человек десять, и ни один мне не доложил.

У Аро под Тронхеймом остались жена и две дочери. Он не знал о них ничего и не мог узнать.

Спустилась в штрек, минут пять смотрела на его установку. Сделали её хорошо. Я тридцать лет принимала технику и вижу, когда вещь делал человек, который её любит. Потом приказала разобрать — не вынести, не сдать, а разобрать до последнего болта, и разобрать ему самому.

Он делал это трое суток. Я приходила дважды.

Он спросил меня один раз, на второй день, не разгибаясь:

— Товарищ полковник, а если они уйдут сами? Что мы тогда скажем? Что мы делали семь лет?

Я ответила: жили.

Он сказал: это не ответ.

Он был прав. Ответа лучше у меня нет и сейчас, а тогда я не могла даже объяснить ему, почему мой плохой ответ всё-таки верный: правило «гибнет то, что светит» я знала как факт, но не как причину; приказ мой стоял на страхе, и человек в штреке это чувствовал.

Установку он разобрал. Ракеты мы утопили. Аро дослужил до прихода брата и вышел встречать его вместе со всеми — и, я думаю, до последнего дня считал, что тогда я была не права.

А потом начались странности, из-за которых слово «вторжение», записанное мной в ту первую ночь, стало понемногу разваливаться в руках.

Первое. За весь второй год — ни одного удара по людям. Ни одного. Колонны беженцев шли по открытым дорогам средь бела дня, тысячи людей, и веретёна проходили над ними и не трогали. Тронули один раз военную автоколонну — потому что в ней работали самые новые высокочастотные рации.

Мы потом допрашивали одного из выживших — водителя головной машины, он успел выскочить и отбежать. Рассказывал он спокойно, ничего в этом не поняв: как машины за его спиной умерли одна за другой — не взорвались, просто встали и почернели изнутри, — а он стоял в чистом поле, на виду, один, и веретено прошло над ним так низко, что он видел двадцать своих теней от граней. Оно его не тронуло. Оно прошло над живым человеком, как проходят над камнем. «Оно посмотрело сквозь меня, — сказал он и поправил себя: — Нет. Оно не посмотрело. Там нечему смотреть».

Второе было хуже. Они чинили. Разведка дважды приносила одно и то же: веретёна неделями висят над точками наших старых испытательных полигонов — тех самых, откуда служба разведки когда-то запускала свои секретные прототипы, — и что-то там делают. Не с землёй. С пустотой над землёй. Воздух там был какой-то ломкий. Объяснить лучше никто не мог, и я не требовала.

Ито — он единственный раз за всю осаду добрался до нас, с большим курьерским конвоем, в год, когда узлы сектора сводили под одно командование, — смотрел на эти отчёты дольше меня и однажды сказал тихо, чтобы не слышал дежурный: «Элена, я тебе скажу как есть, а ты меня за это отругаешь. Никакой войны нет. Мы попали под машину, которая при-

ехала не по нашу душу — у неё здесь работа, которой мы не видим, а мы просто оказались на дороге».

Я запретила ему повторять это при личном составе. Строго запретила, властью старшего по званию, и он подчинился, потому что был хорошим офицером. Но с того дня мы говорили об этом вдвоём — раз в несколько месяцев, когда курьерская линия давала оказию, обменивались выписками из журналов, как двое учёных, у которых на всю планету не осталось других коллег.

Он собирал свою картотеку странностей, я свою. Его картотека была честнее моей: я до последнего вписывала каждый факт в слово «вторжение», подпирала это слово, как треснувшую балку, — потому что на этом слове держался не потолок, на нём держались люди. Людям нужен был враг. С врагом можно воевать, врага можно ненавидеть, ненависть держит человека на ногах. А как жить с мыслью, что твой мир, твои одиннадцать миллиардов погибли ни за что и ни от кого, — этого я не знала и знать не хотела. Оказаться жертвой — тяжело. Оказаться помехой — невыносимо.

Наверх мы вышли на двенадцатый день.

Я долго не разрешала. Осторожность была ни при чём: я не знала, о чём буду спрашивать вернувшихся. Пошли трое, в общевойсковых комплектах, без единого работающего прибора, с компасом и картой на бумаге. Вернулись через сутки. Старший группы докладывал мне полтора часа, и все полтора часа я ждала слова, которого так и не услышала: «разрушения».

Разрушений не было.

Дорога от нашего выхода к городу лежала целая. На ней остались машины — каждая в своей полосе, будто затор, который вот-вот тронется; у некоторых были открыты двери. Мост держался. Провода висели.

Город стоял весь, до последнего дома, тёмный и целый, и в нём было тихо так, как в городе не бывает: ни гула подстанций, ни вентиляции, ни лифтов — и от этой тишины, сказал старший группы, у людей начиналась паника раньше, чем от чего бы то ни было другого. Они прошли по улице километра три и не увидели ни одного следа боя. Витрины целы. Стёкла целы.

Люди были. Немного, но были — шли по обочине, с рюкзаками, кто куда. Группу мою не тронули и почти ни о чём не спросили; спрашивали одно и то же: работает ли где-нибудь связь. Мои сказали, что нет. Люди кивали и шли дальше.

Слушала и записывала, а на середине поняла, что жду от него слова «пепел». Пепел означал бы войну: по нам ударили, мы кому-то мешали настолько, что нас стоило разрушить. А тут одиннадцать миллиардов человек лишились всего, что делает их цивилизацией, — и ни одна стена не упала. Нас не разбили. Нас выключили. И оставили стоять целыми — как оставляют стоять мебель в доме, из которого вынесли электричество.

Вот тогда, на двенадцатый день, слово «вторжение» в первый раз шевельнулось у меня в руках. Я его удержала. Мне понадобилось ещё шесть лет и Ито, чтобы разжать пальцы.

Мы ушли под землю окончательно. Сорок известных мне узлов на всю планету, связанных курьерами и проводами. Меньше двух миллионов человек — тех, о ком я знала; сколько ещё пряталось молча, не знал никто, потому что спасение и было молчанием, а молчащих не сосчитать.

Мы растили зелень на гидропонике под лампами, которые питались от геотермальных контуров, не дававших внешнего сигнала. Жизнь свернулась до размеров скалы и оказалась — жизнью.

Внизу работала школа: учителя из выживших вели уроки по памяти, без единого экрана, мелом по крашеной стали, и география Земли, которой больше не было, шла в расписании между математикой и гидропоникой. Моя племянница выучила названия океанов под трёхсотметровой толщей камня.

Мы рожали детей, которые не знали неба; первое время матери носили их к перископу — показывать облака, — а потом перестали: дети пугались.

Мы хоронили стариков, помнивших золотые города, и на поминках молчали громче, чем где-либо: покойники уносили с собой Землю по куску — этот помнил, как пахнет море, та — как шумит настоящий лес. С каждыми похоронами мир становился меньше.

Передатчик «Бункера-семь» я включила один-единственный раз, на четвёртом месяце после атаки. Я почти месяц готовила этот сеанс и почти месяц не могла себе его разрешить: право рискнуть всеми, кто был под скалой, ради надежды, что где-то уцелели ещё люди, не давал ни один устав — его надо было взять самой. Я взяла.

Мы бросили в эфир тот призыв — «придите и найдите нас» — короткими сеансами, раз в тринадцать часов, с выносной антенны за два хребта от бункера, по проводу, чтобы, если придут на голос, пришли не к нам. Я надеялась, что отзовутся дальние станции, лунные купола, кто-нибудь с орбиты Марса, — что нас больше, чем одна нора в земле.

Никто не ответил. А веретёна — я поняла это позже, сопоставив журналы наблюдателей, — каждый раз поднимали иглы на наш сигнал, все, по всему полушарию, как поднимает голову зверь на хруст ветки. На четвёртом месяце передач разведка доложила, что ближайшее веретено сместилось к нам на триста километров и висит. Я прекратила сеансы, выносную антенну сожгли, передатчик я велела спустить в самый нижний ярус — руками, как заразу из дома. Больше мы не издали ни звука.

Была ещё одна вещь, о которой я не написала в журнале и не рассказала никому, кроме брата, много позже, — потому что боялась, что меня сочтут выжившей из ума.

За полтора месяца до атаки, летом шестнадцатого, когда небо ещё было целым и никто ничего не подозревал, ко мне пришёл человек. Ночью. Он прошёл через три поста охраны и две линии сигнализации, которые я лично проверяла, и ни один датчик не сработал — до сих пор не понимаю как; ни один живой человек так не пройдёт.

Он был высокий, сутулый, худой до костей, а лица его я толком не разглядела в темноте — помню только, что оно было усталым и каким-то не отсюда, будто и не лицо вовсе. Двигался он плавно, без единого лишнего жеста. Он положил мне на стол металлический пенал и сказал — голосом ровным, как из хорошего динамика: «Отдай это Николасу, когда он вернётся».

Я ответила, что мой брат четыре года как пропал вместе со своим кораблём и, скорее всего, погиб. Он посмотрел на меня спокойно и сказал странную вещь, которую я запомнила навсегда, слово в слово: «Время украдёт его у вас, но и вернёт. Просто позже». И ушёл в темноту.

Тогда я решила, что это сумасшедший. Мир был цел, брат был мёртв, а по бункеру ходят призраки и оставляют пеналы. Через месяц мир перестал быть целым. А ещё через семь лет мёртвый брат спустился с неба на грозовом фронте и обнял меня на дне высохшего водохранилища. И я поняла, что единственным нормальным человеком в ту летнюю ночь была не я. Это был он, тот призрак. Он один во всём мире знал, что происходит и что произойдёт. И он оставил моему брату письмо — как оставляют завещание, точно зная день собственной и чужой смерти.

Я хранила пенал семь лет, в сейфе, рядом с пустой гильзой батареи Гималаев и нарядом на «Бастион-три». Гильза и пенал были реликвии: одна — память о том, как мы напрасно воевали, второй — обещание, что кто-то знал выход. Наряд был третьим и не был реликвией.

Я не открывала пенал. На нём значилось, что открыть его должен Николас, и я, полковник, привыкла выполнять то, что написано в приказе, даже если приказ отдал призрак.

И вот он вернулся, мой младший брат, командир корабля-ковчега, и я отдала ему обе реликвии сразу: гильзу — в рассказе, пенал — в руки. Гильзу — чтобы он знал, как мы держались.

Глава 9. Эвакуация

Возвращаюсь к своему рассказу — потому что дальше решения принимал я, и отвечать за них мне.

Решение уйти с Земли обсуждали недолго; спорить было не с чем. Планета не могла прокормить и защитить даже те неполные два миллиона, что на ней остались. Почвы отравлены на поколения вперёд, климат сорван ударами, половина гидропонных узлов работала на честном слове и запасах, которым виден был конец.

А над головой, в точке Эль-два, висело терпеливое стеклянное семя и слушало, не заговорит ли Земля снова, чтобы прополоть грядку ещё раз. Оставаться означало медленно вымирать в темноте, уменьшаясь поколение за поколением, пока последний человек не погасит последнюю лампу.

«Сириус» с его криомодулями на полтора миллиона мест, с заводами, госпиталями, гидропоникой и — главное — с двигателями был единственным будущим, у которого оставался шанс выжить.

Объединённый совет собирали пять недель. Вызовы ушли медью по тем линиям, что были, и курьерами по тем направлениям, где меди не было; ближние командиры добрались за неделю, дальние шли месяц, двое не дошли вовсе, и до сих пор неизвестно, где они легли.

Собрались в старом зале погрузки под горой, где до войны разворачивались составы: бетонный свод, рельсы в полу, лампы на времянках. Сорок командиров узлов, при них штабы, при штабах телеграфисты — всего человек триста.

Рассаживались они долго. Семь лет эти люди жили по норам и разговаривали друг с другом точками и тире. Теперь они сидели в одном помещении, и им было физически трудно: отвыкли от эха, от чужого дыхания рядом, от того, что на тебя смотрят сорок пар глаз сразу. Кто-то держался у стены, поближе к выходу. Кто-то первые полчаса просто молчал и слушал, как гудит зал.

— Мы строили его, чтобы найти человечеству новый дом, — сказал я. — Мы не думали, что к нашему возвращению эта формулировка станет буквальной.

Возражения были, и все они разбились об один вопрос: а что вы предлагаете взамен? Остаться и ждать милости сторожа? Уходить решили сорок узлов из сорока.

Потом поднялся полковник Ито — второй из уцелевших старших офицеров сектора — и задал вопрос, ради которого, как выяснилось, все и съехались.

— Полтора миллиона мест, — сказал он. — Нас под скалами миллион девятьсот с чем-то. По какому списку, капитан?

Я ждал этого вопроса и приготовил на него хороший ответ. Хороший ответ не продержался и двадцати минут.

Первой его сломала Крамер. Мой старпом разложила на столе четыре листа, отпечатанных ещё на борту, и не подняла от них глаз ни разу.

— Криомодули — это не трюм, — сказала она. — Это город, который через тридцать лет должен проснуться и заработать. Ему нужны реакторщики, криотехники, врачи, гидропонщики, ремонтники, учителя. Если вы наберёте полтора миллиона по жребию, я привезу к чужой звезде полтора миллиона спящих и слишком мало тех, кто умеет их разбудить, накормить и вылечить. Это не мнение, это таблица. Вот она.

— Списки по специальности разорвут семьи, — сказал я. — Мы поднимем сварщика и оставим внизу его мать.

— Разорвут, — согласилась Крамер. — И я готова это подписать.

Зал промолчал.

Дальше встал Ланге и объявил залу вторую новость, которой не ждал никто, включая меня.

— Есть медицинский предел, — сказал главный инженер. — Криокамера берёт не всякого. Беременные — нет. Дети до полугода — нет. Тяжёлые сердечники, некоторые импланты, несколько десятков диагнозов помельче — нет. По довоенной статистике таких семь процентов. По нынешним людям, которые семь лет ели дрянь и дышали пылью, я закладываю двенадцать.

— Двенадцать процентов, — сказал кто-то в зале раньше, чем сосчитал я. — Это двести с лишним тысяч человек.

— Двести тридцать тысяч, — подтвердил Ланге. — И бодрствующими их везти нельзя. Жилые ярусы рассчитаны на двести с небольшим тысяч, но замкнутый цикл — вода, воздух, гидропоника — держит пятнадцать тысяч экипажа, и это его потолок. Законсервированные контуры развернуть можно: оранжереи верхних ярусов, второй водооборот, регенерацию. Только это не месяцы, профессор, это годы перестройки, и вести её надо на спокойном ходу, имея руки и время. У нас нет ни рук, ни времени. Я могу поселить на ярусах кого угодно на неделю. Я не могу кормить их тридцать лет.

— То есть их нельзя взять вовсе, — сказал Ито.

— Никого из них, — сказал Ланге. — Это не список. Это медицина.

Двести тридцать тысяч человек, и виноватого искать было негде.

Асгейрссон тут же потребовал занести в протокол, что двенадцать процентов — оценка, а не измерение, и что ошибка в обе стороны может достигать трети. Его попросили не мешать. Он не сел и не замолчал.

— Я мешаю затем, — сказал он, — что если процент окажется выше, резать списки будут уже не здесь, при лампах, а на площадках, при погрузке. Здесь это цифры. Там это будет происходить между людьми.

Он оказался прав, и я помню, что тогда попросил его сесть.

Мой хороший ответ выглядел так: единый список, составленный на борту. Машина, вводные, никаких знакомств, никаких имён — только квалификация, возраст, состояние здоровья и семейные связи в заданных весах. Справедливость, которую нельзя купить и нельзя выпросить, потому что просить некого.

Ито слушал меня внимательно, а потом сказал:

— Ваш список будет справедливым. Его никто не выполнит.

— Поясните.

— У трапа будет стоять мой сержант, — сказал Ито. — Не ваша машина. Ему подадут бумагу с фамилиями, которые он не выбирал, и он будет по этой бумаге отказывать людям, с которыми семь лет сидел под одной скалой. Он не сможет. Я на его месте тоже не смогу. Дайте узлам квоту — цифру, только цифру. Имена мы найдём сами. Тогда это будет наша вина, а не ваша, и мы её унесём с собой или оставим здесь, но она будет наша.

Голосовали поднятием руки, при лампах. Тридцать восемь из сорока за предложение Ито, с поправкой Крамер: каждый узел сначала закрывает специальную квоту по её таблице, остальное — по своему усмотрению и под свою подпись.

Я голосовал против. Это было первое решение похода, которое принял не я, и я поднял руку вместе с меньшинством и в меньшинстве остался.

Вечером Крамер нашла меня в штабной комнате, где я сидел над её таблицей и пытался понять, в какой момент упустил зал.

— Вы считаете, я вас подставила, — сказала она.

— Я считаю, что вы были правы. Это хуже.

Она села напротив, и я в первый и последний раз услышал от неё что-то не по делу.

— Я один раз уже это делала, капитан. Полевой госпиталь, борт на двадцать два места, раненых сорок один. Врач мне сказал: берите тех, кто долетит. Я взяла тех, кто долетит.

Она помолчала.

— Это называется сортировка. Её всегда кто-то делает. Кто-то смотрит в таблицу, кто-то в лицо. Я смотрю в таблицу. Чище я от этого не стала.

Эвакуация заняла семь месяцев, и тяжелее у меня в жизни работы не было. Всю жизнь я считал грузы. Тут пришлось выбирать, кому жить. Полтора миллиона человек надо было поднять с поверхности на орбиту незаметно для сторожа, который убивал за один сигнал.

«Сириус» не мог сесть; всё держалось на челноках. Мы собрали в один кулак всё, что летало: наши три тяжёлых транспорта и авиакрыло, плюс каждый уцелевший поверхностный челнок сорока узлов — латаные, довоенные машины, вытащенные из шахт и капониров, где их семь лет прятали именно на этот случай, сами не зная на какой.

Танака рассчитывала графики стартов не по баллистике, а по картам погоды: подниматься можно было только в грозовых фронтах и только на дневной стороне, прячась в атмосферном шуме и слепящем свете.

Сингх держал дежурное звено у самой кромки атмосферы. Асгейрссон со сменами круглосуточно следил за веретеном у Эль-два: стоило иглам шевельнуться резче обычного — и все старты по всей планете замирали, иногда на сутки, иногда на недели.

На второй месяц я спустился на грунт сам.

С орбиты эвакуация выглядела прилично: столбики стартов, кривая поднятых, зелёные и жёлтые окна погоды, сводка Крамер в восемь утра. Я подписывал эту сводку каждый день и постепенно перестал понимать, что именно подписываю.

Площадка узла «Карпаты-четыре» лежала в ложбине между двумя отрогами, под низким набухшим небом. Очередь начиналась от края расчищенного круга и уходила в лес — не толпа, а именно очередь, с интервалами, с водоносами, с фонарями на шестах через каждые двадцать шагов. Люди устроились на своих двенадцати килограммах. Кто-то спал сидя. Пахло мокрой глиной и хлоркой.

Перед трапом стояли три стола. Порядок придумала Крамер ещё на борту, и он оказался единственно возможным, поэтому его повторили на всех сорока узлах.

За первым сверяли фамилию со списком. За вторым взвешивали вещи: двенадцать килограммов на человека, лишнее — в отвал за третьим фонарём; к четвёртому месяцу отвалы у площадок были выше человеческого роста и состояли в основном из книг и посуды. За третьим столом сидел врач.

О первых двух столах в очереди говорили. О третьем не говорил никто.

Тобиас Рейн, пятьдесят один год, слесарь-наладчик ремонтной бригады узла, дошёл до третьего стола в четвёртом часу дня. Жена и дочь прошли за пятнадцать минут до него и ждали у трапа, и дочь всё оглядывалась.

Врач площадки — её звали Хельга Сунд, и она сидела за этим столом одиннадцатую смену подряд — посмотрела карточку, потом Рейна, потом опять карточку и не сказала ничего нового, потому что нового не было: отметка узлового врача стояла там ещё с первого месяца.

Он знал о ней. И всё равно отстоял очередь целиком, трое суток, чтобы дойти с ними до трапа.

— Я не спорю, — сказал он Сунд. — Я знаю. Я хотел довести.

Он сказал это тихо и повернулся идти, и вот тут я сделал то, чего делать не следовало: я вмешался.

Я отвёл Сунд на три шага в сторону.

— Что у него?

— Сердце.

Не то чтобы совсем плохое, но камера даёт нагрузку на входе и на выходе, и на выходе — вдвое; по нынешним таблицам это отказ. Я спросил, можно ли везти его бодрствующим. Она сказала, что это не к ней.

Луч до «Сириуса» шёл через ретранслятор на площадке, с задержкой в полторы секунды, и все полторы секунды я слышал, как за оцеплением гудит очередь.

— Ланге, — сказал я. — Один человек сверх пятнадцати тысяч. Один.

— Их двести тридцать тысяч, капитан. Первый из них стоит перед вами, и он вам понравился.

Я стоял на глине с трубкой в руке и не находил, что возразить.

— Понял, — сказал я. — Отбой.

Я вернулся и сказал Рейну то, что должен был сказать сразу и без луча. Он выслушал, кивнул и поблагодарил меня — за то, что я спустился и что нашёл время. Это было хуже любого проклятия, какое он мог придумать.

Потом он пошёл к трапу, обнял жену и дочь, сказал им что-то короткое и отступил за оцепление, и оцепление сомкнулось у него за спиной, и всё это заняло меньше минуты, потому что за ним шли другие.

Он не ушёл с площадки. Через неделю я увидел его фамилию в суточной сводке узла: старший разгрузочной команды. Он таскал ящики на той самой площадке ещё пять месяцев, пока было что таскать, и, думаю, потому, что отсюда ушла вверх его семья.

Дважды мы прошли по самому краю.

В четвёртый месяц старый грузовой челнок узла «Урал» пошёл с перегрузом из-под грозы над степью. Он надрывался на восходящем участке; в топливной магистрали лопнул шов, давление упало, и его аварийная автоматика — та самая, которую кто-то поленился отключить семь лет назад, потому что руки не дошли, — сделала ровно то, для чего её ставили. Она включила радиомаяк.

— Сигнал, — сказал вахтенный связист. — Внизу. Когерентный. Наш.

На посту у Асгейрссона поднялась вся смена. Иглы веретена у Эль-два встали разом, все, как встаёт шерсть на загривке, и стеклянное семя начало медленно поворачиваться вокруг оси, нащупывая.

— Пеленг берёт, — сказал Асгейрссон. — Ему нужно секунд сорок.

— Мбеки, направленный импульс на маяк, — сказал я. — Выжечь.

— Капитан. На этой машине автоматика посадки на одной шине с маяком. Мы можем сжечь ей управление. Там двести человек.

Я до сих пор считаю, что думал слишком долго. По записи прошло четыре секунды.

— Выжигайте.

Маяк проработал одиннадцать секунд. Одиннадцать секунд когерентного крика в мёртвом эфире планеты — и тишина.

Мы посадили всё, что было в воздухе, по всей планете, и четверо суток не дышали, глядя в экраны. Иглы опустились на третьи сутки.

Челнок с двумя сотнями людей дотянул до орбиты на ручном управлении: пилот вёл его по подсказкам, которые передавали фонарём с площадки, потому что радио было нельзя, и посадил в приёмный отсек с двумя процентами топлива в баках. Фамилию его я знаю и держу в отдельном списке, который вожу с собой.

Во второй раз всё было хуже — и по-другому.

На седьмой месяц, когда внизу оставалось меньше ста тысяч ещё не поднятых, сторожевой механизм у Юпитера исчез. Просто исчез из точки, которую занимал неподвижно четыре года, и подпространственный фон вздрогнул от свежего следа. След уходил наружу, прочь из системы, в ту же сторону, куда тянулись старые шрамы.

— Он ушёл докладывать, — сказал Асгейрссон, и в кают-компании стало очень тихо. — Не знаю, что он увидел или услышал за эти годы. Но «сторожа» не покидают пост просто так. Если один ушёл — значит, за нас уже что-то решили. И я бы не хотел знать что.

Мы так и не узнали — по крайней мере, в тот год и в тот перелёт. Куда ушёл юпитерианский «сторож» и кому понёс весть, осталось одним из вопросов, которые мы увезли с собой из мёртвой системы, не разгадав; и, признаться, чем дальше, тем меньше мне хотелось однажды получить на него ответ. Но это было потом. А тогда решали мы.

С этого дня я приказал ускориться, отбросив половину норм безопасности. Мы поднимали по тридцать тысяч человек в сутки.

Через час Крамер принесла приказ обратно ко мне, и лист был у неё в руке.

— Тридцать тысяч в сутки — это загрузка бортов сверх нормы на пятнадцать процентов и межстартовый интервал вдвое короче регламентного, — сказала она. — Машины довоенные, магистрали переварены в шахтах кустарно. Мы уже видели, что с ними бывает. Я прошу оставить хотя бы норму по массе.

— А я прошу поднять сто тысяч человек до того, как за нами придут, — сказал я. — Норму по массе снимаю. Ускорение утверждаю.

— Тогда занесите в журнал, что старпом возражала.

— Занесу.

Я занёс. Она была права, я был не прав, и расхлебали это другие — через три недели и на моих глазах.

Криотехники валились с ног, укладывая людей и запечатывая камеры, как соты; пять модулей — миллион пятьсот тысяч ячеек — заполнялись ярус за ярусом.

Приёмную палубу третьего модуля я увидел в тот день, когда мы впервые сделали тридцать тысяч.

Снизу их поднимали партиями по двести и по двести же вели дальше, по жёлтой разметке на палубе, потому что говорить в шлюзовой галерее было нельзя: там стоял ровный железный гул насосов, и голос в нём тонул. Люди шли и вертели головами. Почти никто из них никогда не видел корабля изнутри, а больше половины за семь лет не видели вообще ничего, кроме своего яруса.

Первое, что с ними делали наверху, — отбирали двенадцать килограммов.

Я не подумал об этом заранее. Крамер думала и сказала мне ещё в третий месяц, и я тогда не услышал, потому что был занят графиками. В камеру нельзя ничего. Совсем ничего: ни свёртка, ни книги, ни кольца — кольцо снимают тоже, потому что за тридцать лет меняется палец.

Значит, человек, который трое суток тащил под дождём двенадцать килограммов, отобранных из всей своей жизни, отдавал и их — за четыре шага до ячейки.

На этом Крамер стояла насмерть, и это была её лучшая работа за весь поход. Вещи принимали в нумерованные контейнеры, по секциям, под опись; номер контейнера писали человеку на запястье тем же химическим карандашом, каким внизу писали номер борта.

Ланге приходил ко мне снимать эту массу дважды. Во второй раз он принёс расчёт: четыре тысячи двести контейнеров, четырнадцать тысяч тонн, ноль полезной функции на всём протяжении перелёта.

— Они пришли с одним контейнером на человека, — сказала Крамер. — Им надо знать, что есть куда проснуться.

Ланге посмотрел на неё, сложил расчёт вчетверо и убрал в карман. Контейнеры идут с нами до сих пор, в шестом трюме. Это единственный груз на корабле, не имеющий никакого назначения, и я не отдам его ни под какую перекомпоновку.

Дальше был медицинский стол, третий по счёту в жизни этих людей и последний, и за ним сидела Мария Дельгадо со сменой. Здесь уже не отказывали — отказывали внизу, — здесь

мерили давление и ставили укол, после которого человек переставал бояться и начинал хотеть спать.

От укола до ячейки было около четырёх минут, и эти четыре минуты человек шёл сам и обычно разговаривал.

Я простоял там четыре часа и почти всё это время молчал, потому что говорить со мной хотели, а мне сказать было нечего. Меня спрашивали, сколько лететь. Спрашивали, будет ли на новом месте вода. Один пожилой мужчина, уже с уколом, спросил, будет ли он видеть сны.

— Нет, — сказала Дельгадо. — Ничего не будет. Закроете глаза здесь, откроете там.

— Жаль, — сказал он и пошёл к своей ячейке.

Криотехников у нас было четыреста двадцать на пять модулей, и на тридцати тысячах в сутки они работали по двадцать часов. Укладка — работа не тяжёлая и не сложная; она требует только одного: не ошибиться ни разу.

Через полторы недели после того, как я снял норму по массе и ускорил график, Ланге положил мне на стол сводку по браку укладки. До ускорения незапечатанная или неверно запечатанная ячейка приходилась одна на двенадцать тысяч. На ускорении — одна на тысячу семьсот.

Каждая такая ячейка — это человек, который не проснётся. Не через тридцать лет, не никогда: он умирает в первые часы, тихо, и обнаруживают это при следующем обходе яруса, по датчику.

Я знал эту сводку наизусть и графика не сбавил. Из всех приказов того года этот я отдавал дважды: один раз вслух, в кают-компании, при Крамер и Ланге, — и потом каждое утро, когда его не отменял.

И вот тут, на этом ускорении, когда до конца оставалось совсем немного, эвакуация из тяжёлой операции превратилась в то, что я до сих пор вижу во сне.

Линия Земли. Списки. Из журнала полковника Лакидис

Из журнала полковника Э. Лакидис, коменданта объединённого узла «Бункер-семь». Приобщено к судовой хронике «Сириуса»: отчёт о том, по каким правилам узлы делили места.

Квоту нам передали ключом, в три часа ночи, и телеграфист принёс её мне на клочке бумаги, не решившись разбудить дежурного офицера. Сорок одна тысяча двести.

В узле у меня сидело пятьдесят три тысячи семьсот.

Своих под скалой было девятнадцать тысяч. Остальные пришли пешком с шести окрестных точек того же узла за те пять недель, пока собирали совет: борта садились у нас, и площадки, кроме нашей, не было ни у кого.

Разница — двенадцать тысяч пятьсот человек. Я знала это число наизусть все семь месяцев и знаю его сейчас.

Первый день мы потратили на то, чтобы не сойти с ума.

Мой начальник штаба предложил жребий: честно, быстро, никого не надо винить. Врач предложил по возрасту, снизу вверх, — тоже честно, и через сорок лет у нас был бы полный корабль сирот.

Я запретила и то и другое и сделала то, что делают в армии, когда решение невозможно: разложила его на правила, которые можно проверить.

Правила вышли такие. Сначала специальная квота с корабля — те, без кого полтора миллиона не проснутся. Потом дети до четырнадцати с одним взрослым на каждого ребёнка, и взрослого выбирает семья сама, не я. Потом все остальные — по жребию, при свидетелях, с оглашением вслух.

Тех, кого не берёт камера, в списки не вносили вовсе. Решал врач. Это единственное за всю ту зиму, под чем я не подписывалась.

Легче от этого не было никому, а мне, наверное, меньше всех: врач называл диагноз, а объяснять шла я.

Правила заняли полстраницы. Исключения к ним заняли шесть страниц, и каждое я подписала своей рукой.

Жребий я проводила сама. Это единственное, чего я не отдала никому: подпись всё равно стояла бы моя.

Тянули в бывшей столовой второго яруса, по двести с лишним человек за раз, четыре раза в сутки, девятнадцать суток.

Ящик был из-под сигнальных ракет, с прорезью в крышке; бумажки складывали вчетверо, считали при свидетелях от каждой секции, дважды и вслух, перед каждым заходом и после него.

На каждые три бумажки в ящике приходилась одна пустая, и ещё немного сверх того.

Спецквота с корабля и дети до четырнадцати со своим взрослым съели тридцать тысяч мест из сорока одной тысячи двухсот. На ящик осталось одиннадцать тысяч двести.

До ящика дошли семнадцать тысяч триста человек.

Правило было одно, и оно оказалось самым тяжёлым из всего, что я придумала за ту зиму: тянет каждый сам за себя, разворачивает сам и говорит вслух сам.

Мне предлагали оглашать за них — начальник штаба, врач, потом ещё раз начальник штаба. Я не согласилась. Я не хотела, чтобы кто-нибудь потом сказал, что за него решили молча.

Я была права. Девятнадцать суток я простояла у ящика и слышала каждого.

Туве Вирта пришла с двумя сыновьями на шестой день. Младшему, Касперу, было двенадцать, и он проходил детской квотой, и одного взрослого при нём семья выбирала сама — это была мать. Старшему, Андерсу, было пятнадцать, и он шёл к ящику как все.

Он вытянул пустую. Развернул, посмотрел на неё дольше, чем нужно, и сказал: «Пусто».

И отошёл в сторону, к стене, и стоял там, пока тянули следующие одиннадцать человек, и не смотрел на мать.

Потом Туве подошла к моему столу и попросила отдать её место старшему.

Я объяснила ей, что так нельзя: место при ребёнке не её, оно Каспера, и уйти оно может только со взрослым, а Андерсу пятнадцать, и один Каспер не полетит никуда.

Она выслушала это внимательно и спросила:

— А что у вас в правилах называется взрослым?

Я посмотрела в свои полстраницы. В правилах это не было написано нигде.

Я вписала на бланк: «Сопровождающий взрослый — А. Вирта, пятнадцать лет», поставила подпись и дату и сделала пометку, что решение принято начальником узла единолично.

Это было седьмое исключение из шести страниц.

Мальчики ушли третьим бортом в конце седьмого месяца. Туве Вирта осталась.

Она не сказала мне ни слова благодарности.

Из сорока одной тысячи двухсот имён я помню наизусть три — те, что стоят первыми строками в исключениях. Четвёртое имя, которое я помню, в списках не стоит вовсе.

За девятнадцать суток у ящика было два обморока, одна драка, которую разняли сами стоявшие, и ни одной попытки украсть бумажку. Ни одной. Я ждала этого каждый заход, я держала у стены двух своих людей именно на этот случай — и за девятнадцать суток они не понадобились.

Я не знаю, что об этом думать.

Марта Улдис, семьдесят два года. Учительница. Семь лет вела под скалой школу, где не было ни одного учебника и ни одной целой тетради, и вывела из-под скалы четыре выпуска детей, умеющих читать, считать и не бояться темноты.

По правилам её не брали вовсе: возраст, сердце, камера. Тот самый список, под которым мне не пришлось подписываться.

Вписала я её вне очереди, первой строкой в списке исключений, и написала рядом основание: «Специальная квота, учитель». Крамер в своей таблице учителей считала, так что формально я была права. Я знаю, что была неправа, и знаю, в чём именно: один раз за ту зиму я подписала за врача. Пусть это останется в журнале.

Хуже всего были не отказы. Отказы люди принимали до жути спокойно. Хуже всего были те, кто приходил отказываться сам.

Их набралось у меня в секторе больше двух тысяч, а по всей планете, как потом сосчитали, около ста тысяч. Кто-то не мог бросить могилы. Кто-то не верил чужому небу. Кто-то говорил простую вещь: я здесь родился и здесь умру, и это моё право.

Я не спорила ни с одним. Я подписывала им отказ и вписывала на освободившееся место следующего по жребию. К вечеру подпись у меня выходила не моя.

Одну я уговаривала. Единственную за все семь месяцев.

Ингрид Хёугланд пришла ко мне в конце шестого месяца, с младшим сыном. Мальчику, которого я держала на руках в церкви, было двадцать два года, и он молчал и смотрел в пол, потому что уже знал, зачем они пришли.

Ингрид положила передо мной два бланка. Свой — с отказом. Его — без.

— Я останусь, — сказала она.

Я сказала ей всё, что можно сказать. Что земля отравлена. Что зим будет много. Что мы вернёмся — и я тогда ещё верила, что вернёмся скоро. Что у неё есть место, оно уже

выписано, и никто его не оспорит. Что её муж и старший сын не для того сидели у своих экранов до последней секунды, чтобы она осталась в темноте.

Она дослушала меня до конца и ответила:

— Кто-то же должен остаться и смотреть, Элена.

Я подписала ей отказ. Руки у меня при этом не дрожали, и это, наверное, самое плохое, что я могу о себе сказать за ту зиму.

Списки я закрыла за девять дней до конца эвакуации. Сорок одна тысяча двести имён. Шесть страниц исключений. Две тысячи сто одиннадцать отказов по собственной воле. Шесть тысяч четыреста человек, которых не взяла камера. И три тысячи девятьсот восемьдесят девять, которым просто не хватило места и которые узнали об этом от меня.

Копию я оставила себе — не для отчёта, отчитываться было уже некому. Она лежит у меня в столе на «Сириусе», и я иногда её открываю.

Николас потом спросил, как я это выдержала. Я ответила, что не выдержала, продолжала работать.

Глава 10. Причал

Есть слова, которые командир произносит первый раз в жизни и на всю жизнь, а потом примеряет их к себе, спрашивая, имел ли он право. У меня такое слово одно: «прекратить эвакуацию».

Последние узлы поднимали с временных площадок — расчищенных участков у подножия гор, куда людей сводили пешими колоннами из ближних убежищ. Я был на одной из таких площадок, в предгорьях старой Европы, в тот день, когда всё сорвалось. Капитану положено сидеть на орбите и командовать, но смотреть на это только в экраны я больше не мог — спустился последним рейсом на грунт, встал у трапа головного транспорта.

Площадка была дном высохшего водохранилища: плоско, серо, потрескавшаяся глина до горизонта, по краям — щебень бывшего берега. Три транспорта встали треугольником, опалив под собой глину до стекла. Дальше, за оцеплением из фонарей на шестах, стояла очередь. Она стояла там третьи сутки.

Людям на левую ладонь химическим карандашом писали номер. Номер значил борт и очередь; под дождём он расплывался, и его подновляли на контрольных столах. Я видел женщину, которая держала руку ребёнка ладонью вверх и прикрывала сверху своей — чтобы не смыло. Она держала так, наверное, час.

Толпа у транспортов не была толпой трусов. Это были люди, семь лет прожившие в дисциплине подземелья, терпеливые, привыкшие к очередям за водой и воздухом, умеющие ждать в темноте и не толкаться. Они простояли двое суток идеально.

Погода закрылась к вечеру. Грозовой фронт, под который расписали график, ушёл на юг быстрее, чем считала Танака, и следующее окно она давала через сорок один час. Я знал, что через сорок один час у нас на площадке будет не очередь, а полторы тысячи человек, простоявших пять суток под открытым небом на глазах у сторожа, — и приказал грузить в остаток окна всё, что успеем.

Потом в очереди прошёл слух. Я так и не выяснил, кто его пустил и был ли тут вообще умысел; в толпе, стоящей трое суток, он заводится сам, как плесень в сырости. Слух был простой и почти верный: бортов на всех не хватит, эвакуацию скоро закроют, и кто не поместится сегодня, не поместится никогда.

Терпение кончилось за минуту. Это уже было не про очередь за водой; это было про место для твоего ребёнка в единственном ковчеге, который когда-либо строило человечество, и я не знаю никого, кто тогда остался бы в очереди, включая себя.

Люди пошли на трапы.

Оцепление продавили в первые же секунды.

Я стоял в трёх метрах от трапа головного борта, в капитанском скафандре, с капитанскими нашивками, и был так же бессилен, как последний из них: за люком было ровно столько ячеек, сколько было, и ни одной сверх.

Матери и отцы поднимали детей над головами и передавали их вперёд, через плотную качающуюся людскую массу, к рукам, тянущимся из люка, — передавали, зная, что сами уже не пройдут, что за детьми люк закроется.

Мужчина протолкнул к трапу жену и двоих малышей и остался стоять. Он даже помахал им рукой.

В давке падали и не вставали.

У головного борта старший погрузки, сержант из узла полковника Ито, закрыл люк по нормативу и доложил, что борт полон. Тогда толпа пошла на второй.

Второй транспорт был старый грузовик из шахтного капонира, переваренный своими же механиками дважды. Люди шли в него по трапу и по крылу, их втягивали внутрь за руки, кто-

то лез в открытый технологический люк на хвосте. Погрузочная команда пыталась считать и сбилась.

— «Причал», говорит «Сириус».

— Я вижу массу второго борта по телеметрии. Перегруз двадцать два процента. Прошу разрешения задержать старт и снять людей.

На глине я смотрел вверх, на второй транспорт, вокруг которого была толпа, и вниз, на толпу, в которой люди уже лежали.

Если снимать — снимать придётся силой, и делать это будут двадцать человек оцепления против полутора тысяч, и на глине останутся не десятки, а сотни.

Если пускать — борт уйдёт перегруженным, как уходили в те недели все борта, и, скорее всего, дойдёт, потому что до сих пор доходили.

— Пускайте, — сказал я.

— Повторите, капитан.

— Пускайте второй борт. Под мою ответственность.

Он взлетал в семь минут пятого.

Он оторвался тяжело, просел, вытянул, пошёл на форсаже в наклон — и на восходящем участке, в трёх километрах над площадкой, у него не выдержала переделанная магистраль, та же беда, что у «Урала», только теперь без везения.

Он вспыхнул на глазах у всех, кого не успели поднять. Небо на секунду стало белым, и в шлеме у меня погасли фильтры. Когда они открылись, сверху уже шли обломки — минуту, беззвучно.

Четыреста человек. Четыреста человек, которые прошли к трапу, которые поместились, которым повезло, — сгорели в небе над теми, кому не повезло и кто поэтому остался жив на земле.

Толпа замолчала вся сразу. Полторы тысячи человек стояли на глине и смотрели вверх, и никто больше не сделал ни шагу к третьему борту.

— Капитан, — сказала Крамер в луче. — Борт номер два. Перегруз двадцать два процента. Это в журнале.

— Было, — сказал я.

Мы к этому не возвращались ни разу.

И вот в эту секунду, глядя вверх на огонь, гаснущий в облаках, я понял то, что должен был понять раньше.

Их машины не убивают людей.

Веретёна не тронули за семь лет ни одной беженской колонны. Они бьют по тому, что излучает, — по передатчикам, по сетям, по «фонящим» кораблям. Человек в чистом поле, без техники, молчащий, для них не существует.

А мы — мы в эти последние недели убивали людей тысячами. Давкой у трапов, перегруженными бортами, форсажем на честном слове, отчаянием. Я поднимал людей в небо, чтобы спасти их, и небо убивало их, а внизу, на молчащей тёмной земле, сторож не тронул бы ни одного из них пальцем.

Передо мной стояли полторы тысячи человек, которым ещё ничего не сказали.

— «Причал» — «Сириусу», — сказал я в лучевую связь, и голос у меня был чужой. — Говорит капитан. Прекратить погрузку. Останавливаем эвакуацию.

Мбеки на орбите переспросил — решил, что помехи. Я повторил. Сингх выругался в эфир, чего не позволял себе никогда. Танака молчала.

Я стоял на грунте и объяснял им — и себе — то, что должно было прозвучать как приказ, а звучало как исповедь:

— Мы поднимаем не в безопасность. Мы поднимаем сквозь верную смерть, а внизу смерть медленная и не наверняка. Не стану лгать вам: планета отравлена, и тем, кто останется,

будет худо — голод, яд, темнота, годы под скалой. Но их машины не бьют людей, они бьют технику; Элена доказала это семью годами. У того, кто уйдёт в тишину, есть время и есть шанс дотянуть до нашего возвращения. У того, кого мы сейчас впихнём в перегруженный борт, шанса нет: он сгорит в небе, как те четыреста. Мы подняли полтора миллиона. Остальные не обречены. Они остаются дома, им будет тяжело, но они живы, и мы за ними вернёмся.

Оставалось сказать это тем, кто стоял на глине.

Я никогда в жизни не говорил хуже.

Говорил я с подножки вездехода, без микрофона, потому что микрофона там не было, и мой голос слышали от силы первые ряды, а дальше передавали по цепочке, как передавали в те годы всё.

Я сказал им, что бортов больше не будет. Я сказал, почему: что железо убивает их вернее, чем сторож, и что я не готов больше платить эту цену их детьми. Я сказал, что мы вернёмся, и назвал срок, которого не знал.

Мне не ответили ничего.

Это оказалось хуже любого крика. Полторы тысячи человек постояли ещё немного и начали расходиться к колоннам — тихо, деловито, подбирая по дороге свои мешки.

Потом от третьего ряда отделилась женщина, подошла к вездеходу и спросила, оставим ли мы им что-нибудь из груза.

Это был единственный вопрос, который мне задали, и, на своё счастье, я успел приготовить на него ответ.

Мы разгрузили всё, что оставалось на площадках и в трюмах трёх транспортов, и всё, что смогли за девять дней спустить с орбиты. Семенной фонд — весь, какой был, включая наши исследовательские линии, рассчитанные на чужие почвы: они годились и для отравленных. Верма, отбиравший их, при мне переспросил у разведки пробы грунта с трёх площадок и потом долго молчал над ведомостью. Я решил, что он считает. Он сказал: «Это не отравленная почва, капитан. Это другая почва». Тогда мне было не до ботаники. Четыре медицинских синтезатора с запасом картриджей и с инструкцией, как печатать простое, когда картриджи кончатся. Станки, инструмент, провод — сорок километров медного провода, потому что медь была их нервной системой, а меди у них не хватало всегда. Реакторные сборки малой мощности со списанных челноков.

И всё, что мы знали о веретёнах, о стороже, о правилах, по которым они убивают: сведённое в одну тетрадь, написанное от руки, размноженное в двухстах экземплярах и розданное курьерам сорока узлов.

Ито взял свой экземпляр, посмотрел на обложку и сказал: «Вот это дороже семян». Он был прав.

Разгружались мы девять дней, и все девять дней нам помогали те, кого мы не взяли.

Они пришли к площадке наутро после моего приказа — не все, но их набралось больше тысячи, — и стали таскать. Организовались сами, за час, без нас: носилочные партии, склад под откосом, охрана склада, учёт на школьных тетрадях.

К вечеру первого дня у них уже был свой порядок, в который мои люди не вписывались, и Крамер по лучу сказала мне: не мешайте им, капитан, они это делают не для нас.

Старшим одной из партий был Хенрик Валь. Я узнал его на второй день по спине — он стоял ко мне спиной, и это была та самая спина, в трёх метрах от трапа, спокойная в качающейся толпе.

Он поднял к люку жену и двоих малышей и остался стоять.

Я предложил ему место. Оно у меня было — одно, на последнем борту, со штабом Элены, и я имел право распорядиться им как хотел.

— Вы его кому-то отдали? — спросил он.

— Нет.

— Тогда отдайте, — сказал он. — Я их посадил. Значит, я всё сделал.

Он спросил только одно и спросил не сразу, а на девятый день, когда мы уже сворачивали площадку: нельзя ли записать где-нибудь на корабле, что их сажал он. Не что они прошли, а что их сажали. Чтобы через тридцать лет, когда они проснутся, нашёлся человек или бумага, которые скажут это девочке и мальчику вслух, потому что сами они, скорее всего, не вспомнят ничего, кроме давки.

Я записал. Тетрадь эта лежит у меня в каюте, и в ней теперь много таких строчек.

Я не спросил, каким бортом они ушли. Он сказал это сам, не дожидаясь вопроса, — «первым», — и повторил через минуту, и я понял, что он говорит это не мне.

В последнее утро оставшиеся стояли по кромке водохранилища, по всему бывшему берегу, редкой цепью в несколько километров. Их было тысячи полторы на этой площадке и, наверное, тысяч сто по всей планете, и я не знаю, сговаривались они или нет, но по кромке они встали одинаково: не толпой, а цепью, с промежутками, как стоят, когда провожают не поезд, а реку.

Никто не махал. Я тогда решил, что это семилетняя привычка не делать лишних движений, и только много позже, уже в походе, понял: они не провожали корабль. Они смотрели, как уходит их собственная семья, а на такое не машут.

Дора Кемп подошла ко мне у трапа последней. Это была та самая женщина, что спросила про груз, — пятьдесят с чем-то лет, бывший делопроизводитель узла, отказавшаяся сама ещё в четвёртом месяце, задолго до всего. Она протянула мне стопку листов, сшитую суровой ниткой.

— Здесь три тысячи двести имён, — сказала она. — Все, кто остаётся в нашем секторе. С возрастом и с тем, где кто будет жить, насколько мы сейчас знаем.

— Зачем?

— Чтобы, когда вы вернётесь, вы знали, кого искать.

Я сказал ей, что вернусь. Я почти в это верил.

— А если нас не будет, — сказала Дора Кемп спокойно, — вы будете знать, кого не нашли. Это тоже нужно, капитан. Хуже всего исчезать без списка.

У меня уже был один такой лист — с фамилией пилота, который посадил челнок «Урала» по фонарю. С того дня их стало два, и я вожу их в одном конверте, и не показывал никому, включая Элену.

Так закончилась эвакуация. Люди на площадке ещё стояли — кончился я. Мы подняли миллион пятьсот тысяч, полную вместимость криомодулей. На Земле осталось не меньше полумиллиона: те сто тысяч, что не захотели уходить, и ещё почти четыреста тысяч, о ком мы знали и кого не смогли забрать. Они оставались там, где родились, под скалой, в темноте, которая семь лет их не выдавала.

Я не знал, скольких из них застану живыми, когда вернусь. Но я твёрдо знал одно, стоя на дне высохшего водохранилища и глядя, как последняя колонна разворачивается и уходит обратно под скалу, к жизни: их не выпалывают. А у меня теперь есть долг — острее любого приказа, тяжелее любого груза в криомодулях.

Манифест мне принесли под утро, когда последний борт уже стоял под погрузкой. Крамер пришла с ним сама, хотя могла отправить с вестовым: подписывать последнюю страницу полагалось мне, а доверять её посыльному она не собиралась.

Папка была толщиной в три пальца. На своде стояло: один миллион пятьсот тысяч.

Круглое число — такими бывают только неправдивые. Я знал, чем его набирали, по одному человеку у трёх столов, и потому спросил, откуда взялись нули.

— Из брака, — сказала Крамер. — Под брак у меня стоял резерв ячеек. Контрольный обход дал отказов меньше, чем я закладывала, и в самом конце сошлось так, что сорок одна

ячейка резерва оказалась лишней. Пустые, исправные, люди в них ещё не ложились. Сорок одно место освободилось за четыре часа до отбоя.

— И вы их закрыли.

— Я их заполнила, капитан. Из цепи.

Она сказала это не сразу. Сорок одного человека нашли по спискам Кемп, подняли с камня и в темноте, без объявления по громкой связи, привезли на площадку. Двоих по спискам не нашли вовсе, и на их места по той же цепи подняли следующих. Сорок поднялись на борт.

— А сорок первая?

— Отказалась.

— Женщина, за пятьдесят. Сказала, что попрощалась вчера, при всех, и второй раз не сможет. Сказала, что если пойдёт, то из тех, кто стоял с ней рядом, никто больше не поверит, что прощание было настоящим. Я не стала настаивать.

— Правильно.

— Я знаю, что правильно, — сказала Крамер. — Мне от этого не легче. Ячейка ушла пустой. Норма у меня была четыре пустых на миллион. Вышла одна на полтора. Про неё я и думаю, капитан, а не про свод.

Я спросил имя. Она ответила, что женщина просила не записывать.

— Тогда впишите так: отказалась одна. Без имени. Но чтобы стояло.

Крамер посмотрела на меня, достала карандаш и вписала. Химический, тот же, каким седьмой месяц подряд писали номера на ладонях.

Я подписал свод в четыре часа сорок минут по корабельному.

Полтора миллиона — это не полтора миллиона. Это сорок узлов, три стола, девятнадцать суток ящика из-под сигнальных ракет, четыре тысячи двести контейнеров общего назначения, одна женщина, которая не смогла попрощаться дважды, и одна пустая ячейка в третьем модуле, которую я приказал не занимать до конца перелёта.

Последним бортом с той площадки поднялась Элена со своим штабом. Она отказалась подниматься раньше — командир уходит последним, — и я не спорил, потому что на её месте поступил бы так же.

Она вошла в рубку «Сириуса», встала у главного экрана и долго смотрела на Землю: избитую, грязно-голубую, невыносимо красивую, уменьшающуюся в перекрестье. Потом сказала — не мне, а планете, тихо:

— Ну, здравствуй, ковчег. И прощай, дом. Ненадолго.

Мы уходили на атомных двигателях, длинной дугой, прячась за Солнцем от сторожа у Эль-два.

Нить у Солнца была уже не та, что встретила нас: четыре года стража штопала её, и теперь, по расчётам Асгейрссона, она стала свежее любой в округе — короткий шаг по залатанной нити обещал быть писком ниже всякого порога.

И всё же первый прыжок я разрешил лишь в четырёх астрономических единицах от Земли, за орбитой пояса.

Когда «молоко» за бортом свернулось в нити и опало и звёзды вернулись на экраны, Танака доложила: привязка есть, отклонение — пять суток, все системы в норме.

Позади остались Солнце, Земля и полмиллиона человек, которым я, не сказав вслух, дал слово.

Глава 11. Второе письмо

Я заперся в каюте, достал пенал и ещё раз перечитал строчку, выцарапанную на крышке. «Открыть, когда поймёшь, что домой вернуться нельзя». Полмиллиона человек внизу и обещание, данное молча. Я понял.

В пенале лежали три вещи: сложенный вчетверо лист настоящей бумаги, крохотный кристалл памяти в оправе из оргстекла и старая фотография, стёртая на сгибах, — мы с Петром на фоне первого учебного шаттла: я, двадцатилетний курсант, и он, мой наставник, уже тогда седеющий.

Я развернул лист.

«Привет, Никола.

Если ты читаешь это — значит, ты вернулся, а возвращаться было некуда. Мне жаль. Я знал, что так будет, и не смог этого остановить; вся моя гениальность, о которой ты любил шутить, свелась к тому, что я умею раньше других понимать, насколько всё плохо.

Ты, верно, до сих пор гадаешь, откуда я всё это знал — что тебя не убьёт, а унесёт вперёд и вернёт; что возвращаться будет некуда; что письма надо слать заранее. Не ясновидение — упрямая логика. В тех испытаниях, из-за которых меня и выжили из проекта, был прототип «ГД-02»: он вернулся целым, но опоздал во времени — по его часам прошло три часа, по нашим — неделя. Разведка списала на сбой хронометра и забыла. Я не забыл. Двигатель «крадёт» у корабля время — и только вперёд; чем корабль тяжелее и прыжок длиннее, тем больше он «крадёт». «Сириусу» — не неделю, а годы. Но «крадёт» и честно отдаёт: железката вернулась. Значит, и ты вернёшься — но гораздо позже, чем улетел.

Потому и письма я не доверил случаю. Оба лежат у людей, которым платят за молчание и точность: первое велено вручить тебе на старте — ты его получил; это передадут Элене с одним условием — отдать незадолго до того, как ты должен вернуться. Я рассчитал, когда это должно произойти.

Теперь слушай главное, и постарайся поверить сразу — у тебя мало времени.

Неоднородность подпространства, о которой я писал в первом письме, — не то, чем я её считал. Я понял это ещё в проекте, когда раз за разом прогонял карты пульсаций: у хаоса не бывает такой «правильности». Подпространство неоднородно так, как неоднородна ткань. У него есть нити, есть узлы, есть узор. Это не среда, Никола. Это сооружение. Кто-то очень давно — счёт на миллионы лет — натянул под нашим космосом сеть, как натягивают провода под городом. Кто и зачем — не знаю. Я называю их «Ткачи», потому что надо же как-то называть тех, чьё бельё мы прожигаем утюгом.

И вот тут я упираюсь в стену и честно тебе признаюсь: я не знаю, где эта сеть. Не «в какой точке космоса» — этого в избытке, координаты на кристалле. Я не знаю, в каком она направлении. Она не в длине, не в ширине, не в высоте — я гонял пробные массы во все три, и сеть отзывается на них не так, как отзывалась бы вещь, лежащая в нашем пространстве. Она сбоку от всех трёх сразу, в направлении, которому у меня нет имени, и, когда я подхожу к этой мысли близко, у меня ноет затылок, как ноет он перед грозой.

Догадка у меня есть. Она такая простая и такая дикая, что я не запишу её здесь: боюсь, что, записанная, она окажется правдой, а к этой правде я ещё не готов. Может, дойдя до узла, пойму я, может, поймёшь ты.

Думай не только о том, где мы, но и о том, когда.

Наши двигатели рвут нити — потому что корабль прыгает вслепую. Каждый слепой прыжок — разрыв. И по сети, как по паутине, дрожь от разрыва бежит к тем, кто её сторожит. Ты уже видел их, иначе не читал бы это письмо.

Я не думаю, что это сами «Ткачи». Скорее всего, их давно нет: сеть кое-где провисла и истёрта, а хозяева такого не допустили бы. Осталась стража. Садовники без сада. Они не мстят и не завоёвывают, они просто латают сеть и выпалывают то, что её рвёт.

Мы рвали — нас выдрали, как сорняк.

Но у всякой ткани есть кромка, а у всякой сети — узлы. Я вычислил ближайший узел: точку, где нити сходятся и где дрожь от прыжка гаснет, не разбегаясь. Координаты — на кристалле. По моим расчётам, там должно быть что-то материальное — сеть нельзя вязать из ничего, узлы надо к чему-то крепить. Если от «Ткачей» хоть что-то осталось — оно там.

Я улетаю туда. Да, не удивляйся: у службы разведки было три беспилотных прототипа с гипердвигателем, и один из них я, скажем так, одолжил — имел право, я его проектировал. И ещё забрал с собой единственную в мире вещь, ради которой, кажется, всё и затевалось: грубый датчик натяжения, собранный мною из уцелевшего осколка того самого «наследства». Он не видит сеть. Он тычет в неё палкой и слушает, где стукнет, — но и этого хватит, чтобы красться вдоль нити, не тревожа стражу. Другого такого прибора нет ни у кого; без него я был бы так же слеп, как весь ваш «Сириус».

Прыгать буду микрошагами, по паутинке. Это долго — считай, годы, а не недели: на ощупь быстро не ходят. Если я прав — по нитям можно ходить. Если не прав — что ж, значит, письмо тебе передаст очень удивлённая Элена, а я стану самой быстрой кучкой пепла в истории.

Приходи к узлу, Никола. Иди вдоль нитей — маршрут на кристалле. И привези всех, кого сможешь.

Твой Пётр.

P.S. Прозвище «Чёрный кот» ты получил зря — тот кот был серый, просто в подвале было темно. Я никогда тебе этого не говорил, потому что дразнить тебя было слишком весело».

Я долго смотрел на фотографию.

Мне на ней двадцать, я стою по стойке смирно, потому что снимали официально, и у меня страшно довольное и страшно глупое лицо человека, которого первый раз в жизни пустили за штурвал. Рядом Пётр — в свитере, потому что он ходил в свитере даже на приёмы, руки в карманах, смотрит не в объектив, а куда-то вбок, на шасси шаттла, и по лицу видно, что он в эту секунду думает про шасси.

Он был мне не другом. Дружат ровесники, а он был старше на двадцать шесть лет и обращался со мной как с прибором, который надо настроить: терпеливо, подробно и без всякого сюсюканья. Он никогда меня не хвалил. За четыре года учёбы я услышал от него одно похвальное слово — «сойдёт», — и до сих пор помню, за что: за посадку в боковой ветер, которую я повторял одиннадцать раз подряд, пока он не сказал «сойдёт» и не ушёл, не оборачиваясь.

Он и в письмах был такой же. Ни одного тёплого слова, ни одного «береги себя», ни одного «я скучаю» — расчёты, координаты, «постарайся поверить сразу». И приписка про кота в конце, единственная за два письма и пятнадцать лет, стоила больше, чем всё, что мне говорили о себе люди, умеющие говорить.

Я сидел с этим листом и понимал, что он писал его, уже зная, что не увидит меня живым. Что он выбирал слова человеку, который прочтёт их через двадцать лет, у разбитого дома, и должен будет после этого встать и работать. Пётр не жалел меня ни разу в жизни — и, кажется, только он один и понимал, чего мне это стоит.

Я сидел неподвижно минуту.

«Оба лежат у людей, которым платят за молчание и точность». Хотя — у людей ли?

Тот ночной гость, что явился к Элене летом шестнадцатого, прошёл мимо каждого датчика. Это был вовсе не Пётр. И, думаю, к сестре приходил вообще не человек.

Ни один живой посыльный не прошёл бы сквозь охрану военного бункера, не тронув ни единого датчика, — а автомат, собранный Петром, прошёл бы: молчаливый, холодный, заранее

заведённый на день и час, как заводят будильник. Он донёс пенал, голосом хозяина проиграл слова, записанные загодя, и ушёл в горы — рассыпаться.

Пётр не доверил дело живой памяти, которая путает и болтает; он доверил его механизму.

И адрес он выбрал не наугад. Из сорока узлов, из миллионов, что доживали в темноте, Пётр послал автомат к одной Элене — потому, думал я тогда, что он знал то же, что знал я: куда бы меня ни забросило, я буду искать сестру, пока жив.

Сестра приняла посыльного за призрака.

Я вызвал мостик.

— Ланге, Танака, Асгейрссон, Крамер — ко мне. И попросите полковника Лакидис.

Элена пришла первой. Я усадил её и попросил рассказать про ночного гостя ещё раз — не семейную историю, а доклад: по порядку, с временем, с деталями.

Она поняла, зачем, и доложила.

— Двадцать шестое июня шестнадцатого. Я тогда сидела на командном пункте орбитальной обороны, в той же скале, что потом стала «Бункером-семь». Обычная служба, до всего. — Она не поднимала глаз и ни разу не сбилась. — Двадцать минут второго ночи. Я не спала, разбирала сводки. Дверь открылась без стука. Знаешь, Никола, что было первое, о чём я подумала? Не «кто это». Я подумала: у меня на двери магнитный замок с кодом, а он открылся, и никто не пикнул. Я потянулась к тревожной кнопке и не нажала. До сих пор не понимаю почему. Наверное, потому, что оно стояло в дверях и не входило.

— Оно?

— Он. Тогда — он. Человек в дождевике, капюшон, лица я не видела, руки в карманах. Ростом с тебя.

— Ты говорила, лицо было усталое и не отсюда.

— Говорила. За семь лет я ему это лицо дорисовала сама. В докладе — капюшон. Стоял неподвижно и молчал секунды три, а потом заговорил — и вот тут у меня встали волосы. Голос был живой, тёплый, с твоей интонацией — то есть с той, которой вы оба говорили, ты и он. Но он не сделал ни одной паузы. Понимаешь? Живой человек, когда говорит, дышит: он берёт воздух, он спотыкается, он повторяет слово. У этого четыре фразы легли одна за другой, как четыре карты рубашкой вверх.

— Что за фразы?

— «Полковник Лакидис. Это для вашего брата». Потом положил пенал на угол стола — не протянул, а положил, и я не притронулась. Потом: «Отдайте, когда он вернётся, и не раньше. Он вернётся». И я сказала — я же дура, я сказала: «Он вернётся через одиннадцать месяцев». А оно ответило: «Время украдёт его у вас, но и вернёт. Просто позже». И ушло.

Она подняла на меня глаза.

— Я выбежала в коридор через две секунды. Часовой стоял у поворота, в двенадцати шагах, и клялся, что мимо него никто не проходил. Ни один датчик на периметре, ни одна камера. Утром я подняла запись — на записи дверь открывается и закрывается сама.

Элена повела плечом.

— Я списала это на нервы и никому не доложила, потому что мне было сорок девять лет, я командовала обороной сектора и хотела командовать ею дальше. За те два года я подписала одиннадцать приказов, в которые не верила, и десять из них оказались правильными. Про одиннадцатый я думаю до сих пор.

— Пётр не мог там быть, — сказал я. — К тому лету он уже несколько лет как ушёл к узлу.

— Я знаю. Я поняла это два часа назад, когда ты сказал, что он улетел. — Она усмехнулась одним углом рта. — Семь лет я думала, что ко мне приходил призрак. Оказывается, ко мне приходил будильник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.